This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

**Правила использовапия**

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

**О программе Поиск кпиг Google**

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

PG
3350
K676
1903a

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

GIFT OF

*The Wendell H. Kinney Fund*

* * *

This is an authorized facsimile of the original book, and was produced in 1968 by microfilm-xerography by University Microfilms, A Xerox Company, Ann Arbor, Michigan, U.S.A.

* * *

Изданіе Товарищества „ЛИТЕРАТУРА и НАУКА“.
Спб., 2-я рота, д. 2.

Н. И. Коробка.

Korobka, N. I.

# ЛИЧНОСТЬ ВЪ РУССКОМЪ ОБЩЕСТВѢ И ЛИТЕРАТУРѢ

НАЧАЛА XIX ВѢКА.

Пушкинъ — Лермонтовъ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типо-Литографія „Энергія“. Загородный просп., 17.
1903.

KH

PG 3350
K676
1903a

skom obshchestvie i
ska. St. Petersburg,

Korobka.
literat
1903.

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 26 іюля 1903 г.

*Предлагаемый вниманію читателей очеркъ впервые появился въ печати въ книжкахъ 10, 11 и 12 журнала „Образованіе“ за 1902 годъ.*

# Личность въ русскомъ обществѣ и литературѣ начала XIX вѣка *).

## I.

Поэтъ всегда выражаетъ тотъ народъ, то общество, среди котораго онъ живетъ и дѣйствуетъ. Въ первобытномъ обществѣ онъ является выразителемъ всего племени, которое живетъ однородною жизнью; въ обществѣ культурномъ поэтъ прежде всего, выразитель того класса, къ которому онъ принадлежитъ.

Пушкинъ и по рожденію и по воспитанію принадлежалъ къ русской дворянской интеллигенціи начала XIX вѣка и разсматривать его безъ этого фона намъ кажется столь же немыслимымъ, какъ рисовать корабль безъ той водяной поверхности, по которой онъ плыветъ, или летящую птицу безъ воздуха, въ которомъ она паритъ. Это заставляетъ меня,—хотя раньше вамъ дана была другимъ лекторомъ характеристика эпохи, я увѣренъ болѣе рельефная, чѣмъ та которую я могу дать,—снова вернуться къ изображенію русской интеллигенціи начала XIX вѣка съ тѣмъ, чтобы отмѣтить тѣ ея черты, которыя такъ или иначе важны для моей прямой задачи.

Русская интеллигенція начала XIX вѣка носила сословный характеръ. Она представляла собою часть дворянства какъ единственнаго сословія, обладавшаго нѣкоторою образованностью. Дворяне, насильно приставленные Петромъ Ве

*) *Изъ коллективнаго курса по новой русской литературѣ, читаннаго въ Спб. Обществѣ вспомоществованія учительницамъ.*

ликимъ къ учебѣ, успѣли уже ко времени Екатерины II настолько освоиться съ этою учебой (хотя въ лицѣ меньшинства), что мыслили, читали, философствовали на манеръ французовъ, когда еще на Руси въ полномъ смыслѣ „народъ безмолвствовалъ", когда всѣ остальные классы жили, довольствуясь апокрифами и Домостроемъ. Интеллигенція начала XIX вѣка была, такъ сказать, вторымъ поколѣніемъ интеллигенціи. Многое въ ней было тождественно съ интеллигенціей предшествовавшей эпохи, но была уже и весьма существенная разница.

Мы воспользуемся блестящею характеристикой того и другого поколѣнія, данной въ лекціяхъ одного изъ талантливѣйшихъ русскихъ историковъ.

„При Екатеринѣ, читаемъ мы въ этомъ курсѣ, дворянство не несло уже обязательной службы, потому что у него не требовалось уже ни того, что требовалъ Петръ, ни того, что нужно было при его преемницахъ, ни военной выучки, ни салонной выправки. Но въ сословіи, если не выработалась привычка учиться, оставалась смутная мысль отъ Петровскаго времени о необходимости учиться; помнили, по крайней мѣрѣ, что дворянству, если не нужно быть навигаторомъ, то необходимо усвоить минуэтную галантность и французскую салонную риторику. Это смутное воспоминаніе послужило почвой для дальнѣйшихъ успѣховъ образованія. Съ такою мыслью или съ такимъ намѣреніемъ сословіе вступило въ положеніе, созданное закономъ о вольности дворянства и оброчнымъ землевладѣльческимъ хозяйствомъ. Характеръ участія, которое предоставлено было дворянству при Екатеринѣ въ мѣстномъ управленіи, не внушалъ ему мысли о необходимости какого-либо административнаго образованія; характеръ сельскаго хозяйства, какъ оно сложилось подъ дѣйствіемъ крѣпостного права, точно также не побуждалъ его къ пріобрѣтенію какихъ-либо политико-экономическихъ или агрономическихъ свѣдѣній. Но это положеніе давало зажиточной части сословія обширный досугъ, который надо было наполнить всѣми послѣдствіями созданнаго крѣпостнымъ правомъ положенія дворянскаго сословія. Чувство дворянской чести, обычай послужить въ молодости, выйти въ отставку при наступленіи зрѣлаго возраста, праздность, соединенная съ властью въ деревнѣ и съ легкостью добыванія

средствъ, все это, по отливѣ дворянства изъ столицы, произвело нѣкоторую перемѣну въ умственныхъ и нравственныхъ интересахъ сословія, нѣкоторое осложненіе въ программѣ его образованія. Къ требованію свѣтской галантности стала присоединяться потребность въ нѣкоторомъ литературномъ лоскѣ, интересъ къ чтенію, даже безъ заботы о содержаніи и о примѣненіи прочитаннаго, такъ просто, чтобы занять праздный умъ и много-много пріобрѣсти матеріала для свѣтскихъ разговоровъ. Такъ, Петровскій дворянинъ,—артиллеристъ и навигаторъ,—превращенъ постепенно въ Елизаветинскаго petit maître, а petit maître въ Екатерининскаго homme de lettre, пока изъ этого homme de lettre'а не вышелъ дворянинъ философъ, массонъ или вольтерьянецъ".

Такъ рисуетъ талантливый историкъ возникновеніе баръ-вольтерьянцевъ, этого историческаго курьеза Руси XVIII вѣка. Идеи, воспринятыя этими вчерашними варварами, слишкомъ мало вязались и со всѣмъ укладомъ русской жизни и съ соціальнымъ положеніемъ русскихъ адептовъ этихъ идей, и для большинства онѣ были лишь игрой мысли, нисколько не вліявшей на ихъ отношеніе къ дѣйствительности и на ихъ поступки. Но вернемся къ изображенію этого процесса, совершавшагося въ русскомъ дворянствѣ даваемому цитированнымъ нами выше курсомъ.

„Съ рукъ сельскаго дьячка-учителя, повѣствуетъ нашъ авторитетный писатель, переходилъ онъ (дворянинъ) въ руки француза-гувернера, довершалъ образованіе въ итальянскомъ театрѣ или французскомъ ресторанѣ, примѣнялъ пріобрѣтенныя познанія въ петербургскомъ салонѣ и доканчивалъ дни въ московскомъ или деревенскомъ кабинетѣ съ книжкою Вольтера въ рукахъ. Съ этою книжкою въ рукахъ, гдѣ-нибудь въ Москвѣ на Поварской, или въ Тульской деревнѣ, онъ представлялъ очень странное явленіе; усвоенные имъ манеры, вкусы, привычки, понятія и симпатіи, самый языкъ—все у него было чужое, привозное, а дома у него не было органической связи съ окружающимъ, никакого серьезнаго устройства дѣла. Въ его рукахъ было мѣстное управленіе и землевладѣніе, но мѣстныя дѣла онъ предоставлялъ вести своимъ уполномоченнымъ, дворянскому предводителю и выборному исправнику, и хозяйство возлагалъ на крѣпостного приказчика или выписаннаго изъ-за границы управляющаго, обык-

повенно нѣмца. Такъ ни идеи, ни практическіе интересы не привязывали его къ родной почвѣ, онъ вѣчно старался сдѣлаться своимъ между чужестранцами, и только сталъ чужимъ между своими, былъ какимъ-то пріемышемъ Европы: въ Европѣ въ немъ видѣли переодѣтаго по-европейски татарина, а въ глазахъ своихъ онъ казался родившимся въ Россіи французомъ".

Тѣмъ не менѣе нашъ историкъ отмѣчаетъ, что интеллигентный дворянинъ Екатерининской эпохи чувствовалъ себя въ общемъ недурно. Вольтеръ оставался самъ по себѣ, а крѣпостная дѣйствительность сама по себѣ. Увлеченіе Вольтеромъ, будучи чисто головнымъ, создавало только раздвоенность души русскаго вольтерьянца, противорѣчія въ его жизни и воззрѣніяхъ,—противорѣчія, которыхъ онъ, однако, не замѣчалъ даже.

„Любопытно, читаемъ мы въ цитированномъ уже нами курсѣ, что онъ не чувствовалъ этого противорѣчія, ни съ чѣмъ не сталкивался, и въ этомъ его характерная черта, спасавшая его отъ многихъ бѣдъ. Занѣсныя понятія наполняли его голову, сообщали блескъ его уму, украшали его рѣчь, простирали свое дѣйствіе даже на его нервы; русскій дворянинъ никогда не былъ такъ впечатлителенъ, такъ воспріимчивъ, никогда не увлекался и не плакалъ такъ охотно, какъ въ царствованіе Екатерины: онъ тогда приходилъ въ восторгъ и плакалъ даже отъ хорошихъ словъ, *но и только*. Слезы, восторженность были только патологическимъ развлеченіемъ, нервнымъ моціономъ, необходимымъ для поддержки душевнаго равновѣсія, и не отражались на немъ, не переходили въ поступки, не становились дѣломъ. Вольтерьянецъ спокойно читалъ страницы о правахъ человѣка рядомъ съ дѣвичьей, и оставался искреннимъ вольнодумцемъ и гуманистомъ, идя расправляться съ неисправнымъ слугой на конюшню; новый кругъ идей измѣнилъ настроеніе, но не дѣйствовалъ на порядокъ, смягчалъ чувства, но не отношенія. Эта разобщенность мысли и дѣла—самая глубокая черта, характеризующая дворянское образованное общество временъ Екатерины".

Какъ могло существовать подобное противорѣчіе, чѣмъ оно объясняется, историкъ, нарисовавшій намъ рельефно эту картину, намъ не объясняетъ сколько-нибудь удовлетворительно.

Мы бы сказали, что причиною этихъ противорѣчій являе
слишкомъ большая новизна занесенныхъ идей для русск
общества и слишкомъ большое противорѣчіе ихъ съ русс
дѣйствительностью. Идея, воспринятая на вѣру, умомъ
подготовленнымъ, не привыкшимъ къ серьезному мышле
эта идея ослѣпила и увлекла, но не проникла въ глубь
знанія. Въ глубинѣ сознаніе оставалось прежнимъ, варв
скимъ, и надо было много работы и не мало времени, что
эта новая идея дѣйствительно стала для русскаго бар
своею, продуманною и прочувствованною идеей. Мы не
всѣмъ согласны съ цитированнымъ нами авторитетнымъ ин
телемъ относительно раздвоенности *всего* поколѣнія интел
генціи Екатерининской эпохи. Были исключенія и довол
блестящія. Новиковъ, Бецкій и нѣкоторые другіе люди 18
вѣка были свободны отъ этой раздвоенности, работая, ру
водясь своими идеями, но этихъ людей было ничтожное ме
шинство. Значительная часть баръ - вольтерьянцевъ б
именно такою, какою рисуетъ ее приведенная нами выше
рактеристика, и была такою потому, что слишкомъ неглуб
усвоила западныя идеи.

Усвоеніе ихъ было удѣломъ слѣдующаго поколѣнія,
торое насъ, главнымъ образомъ, и интересуетъ. Новое по
лѣніе, будучи наслѣдникомъ идейнаго богатства прежн
распорядилось этимъ богатствомъ совершенно иначе. Та ра
щенность между жизнью и дѣйствительностью, которая госп
ствовала въ прежнемъ, исчезаетъ, и дворянская интеллиг
ція превращается въ классъ, стремящійся къ активной об
ственной роли и въ этомъ стремленіи выходящій далек
предѣлы классоваго интереса. Альтруистическое идейное
женіе, развившись въ дворянской интеллигенціи въ Алек
дровскую эпоху, является кульминаціонною точкой въ
витіи этого класса, и катастрофа, которой закончилось
движеніе, была катастрофой самого класса, послѣ кото
онъ не могъ уже оправиться и пошелъ по наклонной п
кости къ идейному и общественному упадку.

Какимъ же образомъ произошли такія перемѣны, бл
даря которымъ вольтерьянецъ-крѣпостникъ превратился
политическаго романтика-декабриста. Авторъ цитирован
нами характеристики русскихъ вольтерьянцевъ 18-го в
объясняетъ происшедшія перемѣны новыми элементами

воспитанія юношества. Такими элементами, по его мнѣнію, являются іезуиты, игравшіе значительную роль въ свѣтскомъ обществѣ начала 19-го вѣка и пытавшіеся захватить въ свои руки воспитаніе аристократической молодежи. „Кажется, говоритъ онъ, католическое іезуитское вліяніе, встрѣтившись въ этихъ молодыхъ людяхъ съ волонтерскими преданіями отцовъ, смягчило въ нихъ и католическую нетерпимость и холодный философскій раціонализмъ; благодаря этому сдѣлалось возможно сліяніе обоихъ вліяній, а изъ этого сліянія вышло теплое патріотическое чувство, т. е. нѣчто такое, чего не ожидали воспитатели". Если такое вліяніе и могло играть какую-нибудь роль, то она была, несомнѣнно, болѣе скромною, такъ какъ тѣ явленія, которыя почтенный историкъ приписываетъ іезуитскому вліянію, имѣли мѣсто и въ такихъ случаяхъ, когда объ іезуитскомъ вліяніи не было и помину. Да и вообще нѣтъ основанія думать, чтобы изъ вольтерьянства и католицизма могло выйти общественное чувство. Вліяніе іезуитовъ могло сказаться скорѣе въ иной формѣ. Тотъ же писатель замѣчаетъ, что іезуиты во всемъ, что не касается религіи, хорошіе воспитатели. Воспитаніе это было именно то, чего не доставало екатерининскимъ вольтерьянцамъ; въ этомъ отношеніи іезуиты, давъ своимъ питомцамъ хорошее воспитаніе, могли, конечно, приготовить ихъ лучше прежнихъ гувернеровъ, къ серьезному воспріятію всякихъ идей, въ томъ числѣ и весьма далекихъ отъ идей воспитателей. Какъ бы то ни было, мы не сомнѣваемся, что вліяніе іезуитовъ могло имѣть развѣ только второстепенное значеніе. Основными причинами перемѣнъ намъ кажется необходимымъ считать, во-первыхъ, то, что идеи, столь новыя для предыдущаго поколѣнія, успѣли уже всосаться, такъ сказать, въ плоть и кровь дворянской интеллигенціи, что молодое поколѣніе росло въ атмосферѣ этихъ идей; что вообще культурный уровень, благодаря дѣятельности лучшихъ людей предшествовавшей эпохи, значительно поднялся, а, слѣдовательно, и облегчилось воспріятіе идей; съ другой стороны, сами внѣшнія событія заставляли людей новаго поколѣнія выйти изъ философскаго квіетизма предшествовавшей эпохи и ступить на путь общественной жизни, къ которой призывало русское дворянство и правительство съ первыхъ лѣтъ царствованія Александра I, и сами событія, среди ко-

торыхъ первое мѣсто занимала многолѣтняя борьба съ Наполеономъ.

Пробужденіе русскаго общества къ сознательной духовной жизни было вызвано дѣятельностью самого правительства. Александръ I былъ изъ русскихъ вольнодумцевъ, скорѣе въ духѣ второго, чѣмъ перваго поколѣнія. Въ немъ сильно было то стремленіе перейти отъ чтенія произведеній освободительной литературы къ попыткамъ преобразованія дѣйствительности въ духѣ ея, которое характеризуетъ интеллигенцію его времени. По воспитанію, онъ былъ такой же питомецъ французскаго гувернера, какъ большинство интеллигентовъ его времени, и идеалы интеллигенціи начала XIX вѣка въ значительной мѣрѣ были его идеалами. Если въ характерѣ Александра I не было цѣльности, послѣдовательности, прямоты лучшихъ изъ его современниковъ, если самое его положеніе было непреодолимымъ препятствіемъ къ тому, чтобы всецѣло отдаться владѣвшимъ его умомъ идеямъ, то все же онъ ближе былъ къ этому, чѣмъ его бабка, даже въ лучшую пору ея правленія.

„По своему содержанію, говоритъ А. Н. Пыпинъ *), первыя идеи Александра I были послѣдовательнымъ развитіемъ идей Екатерининскаго времени, вліяніе и движеніе которыхъ задержаны были двойною реакціей,—при самой Екатеринѣ, подъ вліяніемъ себялюбивыхъ расчетовъ и нетерпимости и подъ страхомъ французской революціи, и въ царствованіе Павла. Александръ I избѣгалъ говорить объ этомъ времени, и желалъ представлять свое царствованіе продолженіемъ временъ Екатерины: онъ возстановляетъ учрежденія Екатерины, уничтоженныя Павломъ, и съ тѣмъ же философскимъ либерализмомъ, какимъ отличалась Екатерина въ первое время, начинаетъ и свою правительственную дѣятельность. Онъ уничтожаетъ тайную экспедицію, какъ она уничтожила тайную канцелярію; онъ желаетъ уничтожить слово „пытка", какъ она желала уничтожить слово „рабъ"; онъ не желаетъ примѣнять строгихъ законовъ объ оскорбленіи величества, такъ же, какъ она, и т. д. Но движеніе, какъ ни оказалось оно потомъ нетвердо, шло по своему содержанію, гораздо дальше прежняго, и Александръ все-таки искреннѣе присту-

*) „Общественное движеніе при Александрѣ I", 1871 г., стр. 6.

палъ къ внутреннему политическому вопросу. Подъ вліяніемъ теоретическаго отвращенія къ деспотизму и подъ вліяніемъ практическихъ впечатлѣній его, испытанныхъ имъ самимъ, Александръ I ставитъ себѣ принципомъ законность, добивается, какими средствами ограничить „деспотизмъ нашего правленія", и съ первой поры царствованія задаетъ себѣ вопросъ объ освобожденіи крестьянъ".

Въ такомъ духѣ создавались проекты въ царствованіе Александра I, сначала въ интимномъ кружкѣ Императора, состоявшемъ изъ Кочубея, Строганова, Новосильцева и Чарторыйскаго, впослѣдствіи съ новымъ совѣтникомъ Императора—Сперанскимъ. Все это не оставалось тайной для общества, общество видѣло начало реформы и знало, что это только начало. Реформы волновали умы, возбуждали споры, заставляли ждать новаго, однихъ съ трепетомъ радости, другихъ со страхомъ. Дворянская знать, къ числу которой принадлежала почти безъ исключенія вся либеральная интеллигенція того времени, и какъ наиболѣе развитой классъ и какъ классъ, ближе всего стоявшій къ правительству, должна была прежде всего испытывать возбужденіе отъ всего происходившаго. Возбужденіе это должно было быть тѣмъ болѣе сильнымъ, что предполагавшіяся реформы готовили этой дворянской знати важную политическую роль. Какова должна была быть эта роль, мы узнали изъ проекта Сперанскаго, какъ полагаютъ, только приведшаго въ систему общественные идеалы самого Императора. Сперанскій, этотъ „вышедшій въ люди" дѣловитый разночинецъ, въ своемъ проектѣ является выразителемъ интересовъ дворянской интеллигенціи. Аристократія въ проектѣ Сперанскаго должна быть тѣмъ органомъ, на который онъ возлагалъ функціи блюсти законный порядокъ, наблюдать за законностью дѣйствій самой власти. Аристократія представлялась въ проектѣ Сперанскаго образованнымъ, независимымъ, связаннымъ съ народомъ классомъ, необходимымъ для правильной жизни государственнаго организма. Такимъ образомъ, сами правительственные планы, хотя и не опубликованные, но не остававшіеся тайной (съ планами Сперанскаго мы знакомимся по изложенію и выдержкамъ Н. И. Тургенева) внушали мыслящей интеллигенціи убѣжденіе въ необходимости участія въ общественной жизни, убѣжденіе въ отвѣтственности этой интел-

лигенціи передъ страной. Точно также само правительство ставило на очередь другой кардинальный вопросъ, занимавшій лучшихъ русскихъ людей первой половины XIX вѣка— вопросъ о крѣпостномъ правѣ. Вопросъ этотъ не сходилъ съ очереди въ правительственныхъ сферахъ даже во второй половинѣ царствованія Александра I. Съ проектами освобожденія выступала на ряду съ либеральнымъ Мордвиновымъ и совсѣмъ не либеральный Аракчеевъ. Наконецъ, устройство, данное Польшѣ, было послѣднимъ шагомъ правительства, вызывавшимъ въ обществѣ стремленіе добиваться для страны-побѣдительницы того же, что было дано странѣ завоеванной.

Не меньшую роль играли въ возбужденіи общественныхъ движеній и политическія событія. Войны съ Наполеономъ далеко не были такими сплошными побѣдами, какъ прежнія войны съ турками, походы Суворова и т. д. Пораженія всегда вызываютъ большій приливъ истиннаго патріотизма, чѣмъ побѣды; здѣсь же неудачи доходили до того, что непріятель занималъ даже древнюю столицу, не видавшую враждебныхъ войскъ съ самаго смутнаго времени. Кромѣ того, войны съ Наполеономъ заставляли значительную часть офицерской молодежи, изъ которой тогда и состояла интеллигенція, проводить годы заграницей, присматриваться къ инымъ порядкамъ, иной жизни. Сравненіе наводило на думы далеко не оптимистическаго свойства, и не одинъ изъ декабристовъ въ своихъ воспоминаніяхъ отмѣчаетъ вліяніе первыхъ впечатлѣній родины по возвращеніи изъ похода 14-го года. Масса военной молодежи вернулась въ Россію перерожденною тѣми великими событіями, въ которыхъ ей пришлось принимать участіе, а Россія оставалась все тою же. А. Н. Пыпинъ приводитъ слѣдующій характерный отзывъ современника объ этихъ перемѣнахъ.

„Многіе, возвращаясь изъ Петербурга послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія, высказывали черезвычайное удивленіе при видѣ перемѣны, происшедшей въ нравахъ, разговорахъ и самыхъ поступкахъ молодежи этой столицы; молодежь какъ будто бы пробудилась для новой жизни, чтобы воодушевиться всѣмъ, что было благороднаго въ нравственной и политической атмосферѣ. Гвардейскіе офицеры въ особенности обращали на себя вниманіе свободою и смѣлостью, съ какою они *высказывали* свои мнѣнія, мало заботясь о томъ, гдѣ они

говорили—въ общественномъ мѣстѣ или въ частномъ домѣ, были ли тѣ, съ кѣмъ они говорили, приверженцы, или противники ихъ мнѣній. Никто не думалъ о шпіонствѣ, которое въ это время было почти ничтожно и незамѣтно" *).

Если въ однихъ кружкахъ происходила серьезная умственная работа, кипѣла идейная жизнь, то въ другихъ кружкахъ молодежи происходило нѣчто совершенно иное, но тоже свидѣтельствовавшее объ избыткѣ силъ, о силѣ біенія пульса жизни. Мы говоримъ о тѣхъ кружкахъ, которые предавались безшабашному разгулу и кутежамъ. Здѣсь тоже сказывалось освобожденіе общества отъ суроваго Павловскаго режима съ одной стороны, реакція противъ нарождавшагося тартюфства съ другой стороны. Какъ бы ни были по существу разны эти два направленія въ молодежи начала XIX вѣка, оба они свидѣтельствуютъ объ одномъ,—обогатствѣ силъ юнаго, только что пытавшагося жить общества, пытавшагося жить какъ кто умѣетъ, но бывшаго не въ состояніи сдерживать эту жажду жизни, жажду впечатлѣній различнаго порядка.

Но вернемся къ тѣмъ кружкамъ, которые жили идейною жизнью, которые составляли цвѣтъ тогдашней дворянской молодежи. Мы видимъ, въ какомъ возбужденіи находятся эти кружки по возвращеніи изъ-за-границы. Это возбужденіе было явленіемъ совершенно иного порядка, чѣмъ вольтерьянскія увлеченія людей Екатерининской эпохи. Эти люди не философствовали уже на досугѣ, а жили тѣми мыслями и чувствами, которыя они исповѣдывали въ своихъ кружкахъ. Такое захватывающее человѣка увлеченіе не могло ограничиться одними платоническими мечтами и разговорами, оно просилось въ жизнь и должно было найти выходъ. Выходъ, какъ мы видѣли, подсказывался самимъ правительствомъ: оно само обсуждало проекты объ участіи общества и, главнымъ образомъ, дворянства въ политической жизни, объ освобожденіи крестьянъ и т. д. Интеллигенція организуется въ общества на подобіе нѣмецкаго „Тугендбунда", имѣя цѣлью только помочь правительству. Вмѣстѣ съ тѣми она намѣчаетъ цѣлый планъ широкой культурной работы. Будущіе декабристы работаютъ надъ просвѣщеніемъ народа, устраивая въ полкахъ и въ своихъ имѣніяхъ ланкастерскія

*) „Общ. движ." 1 изд., 372.

школы, изгоняютъ палку, нѣкоторые спеціально посвящаютъ свои силы изученію экономическихъ наукъ, бывшихъ въ то время новинкой; люди, близко стоявшіе къ декабристамъ и входившіе временно въ составъ ихъ, какъ Н. И. Тургеневъ, создаютъ капитальные труды по экономическимъ вопросамъ („Опытъ теоріи налоговъ"), другіе поступаютъ въ гражданскую службу, бывшую тогда далеко не въ чести у аристократіи, имѣя цѣлью проводить въ жизнь начала законности (Пущинъ); наконецъ, одною изъ существенныхъ заботъ лучшихъ людей того времени, какъ и самого правительства, было улучшеніе быта крестьянъ и подготовленіе окончательнаго освобожденія ихъ. Все это было небывалымъ подъемомъ общественной жизни, подъемомъ, если не по количеству захваченныхъ лицъ, то по интенсивности, не повторявшимся. Въ лицѣ интеллигентнѣйшей своей части русское дворянство, въ 20-хъ годахъ, стремилось выйти изъ того пассивнаго состоянія, какое является привычнымъ для русскаго общества, и перейти къ активному участію въ общественной жизни. Альтруистическій подъемъ духа помогъ ему отрѣшиться отъ своихъ классовыхъ интересовъ и стать представителемъ интересовъ всего народа, борцомъ за благо всей Руси. Это былъ апогей русскаго дворянства, самый блестящій моментъ въ его жизни. Полная вѣры въ себя и въ лучшее будущее, съ юношескимъ энтузіазмомъ, интеллигенція 20-хъ годовъ стремилась работать на благо своего народа, стремилась отдать ему свои силы. Потребность общественной работы, потребность жертвы, проснулась впервые въ русской интеллигенціи и угасить ее могла только катастрофа. Встрѣтивъ въ своихъ стремленіяхъ непреодолимое препятствіе въ лицѣ начавшейся во второй половинѣ царствованія Александра I реакціи, русская дворянская интеллигенція должна была вступить въ открытую борьбу съ нею и побѣдить или погибнуть. Судьба готовила ей послѣднее. Движеніе 14-го декабря было создано дворянскою молодежью и оказалось роковымъ прежде всего для создавшаго его класса потому, что катастрофа 14-го декабря не только уничтожила политическое значеніе высшаго дворянства, но и чрезвычайно понизила его культурный уровень.

Если дворянство послѣ 14-го декабря теряетъ свое политическое значеніе въ пользу бюрократіи, то еще въ большей

степени оно теряетъ свое культурное значеніе въ пользу безсословной интеллигенціи, въ которой, на ряду съ „кающимся дворяниномъ“, значительную роль играетъ разночинецъ. Эта безсословная, неслужилая интеллигенція хотя болѣе или менѣе связана съ дворянствомъ, но идеалы ея иные, иное положеніе въ обществѣ и общественная роль.

Поколѣніе 20-хъ годовъ XIX вѣка было послѣднимъ, чисто дворянскимъ, сословнымъ поколѣніемъ нашей интеллигенціи; въ его лицѣ дворянство достигло наивысшаго уровня, и характерно, что именно это поколѣніе дало величайшаго изъ принадлежавшихъ къ сословной интеллигенціи поэта.

---

## II.

Пушкинъ и по рожденію и по воспитанію принадлежалъ къ тому классу, который достигъ расцвѣта и пережилъ катастрофу въ первой четверти XIX вѣка. Семья Пушкиныхъ принадлежала къ старинному боярству, и хотя была нѣсколько опальною семьей, но это только способствовало развитію въ ней аристократической гордости передъ тѣми, кто гордился „звѣздой двоюроднаго дяди и приглашеніемъ на балъ туда, гдѣ дѣдъ вашъ не бывалъ“. Опала не мѣшала Пушкинымъ принадлежать къ кругу столичнаго барства и жить одною съ нимъ жизнью. Отецъ Пушкина, его дядя Василій Львовичъ (не безизвѣстный писатель) принадлежали къ числу баръ полу-французовъ, слегка затронутыхъ вольтерьянствомъ, довольно плохо, впрочемъ, вязавшимся съ условіями ихъ быта. Семья не лишена была литературныхъ интересовъ, но они не были глубоки. Это были салонные литературные интересы, которые, однако, сближали Пушкиныхъ съ Жуковскимъ, Карамзинымъ, Батюшковымъ, Дмитріевымъ, Тургеневыми и т. д. Главную умственную пищу давала французская освободительная литература съ Вольтеромъ во главѣ. Воспитаніе А. С. Пушкина тоже было воспитаніемъ средняго русскаго барича. Неизбѣжный французъ-гувернеръ изъ эмигрантовъ и крѣпостная няня были руководителями Пушкина въ первые годы его жизни (ни отецъ, ни мать не находили до-

суга заняться дѣтьми). Предоставленный самому себѣ, мальчикъ добрался до библіотеки отца, главное богатство которой составляли французскіе классики и энциклопедисты. Эти писатели были дѣтскою библіотекой Пушкина. Вольтеръ былъ его истиннымъ воспитателемъ. Въ гостиной отца онъ слушалъ разговоры Арзамасцевъ, впитывая въ себя ту атмосферу, которою дышала тогдашняя русская интеллигенція. Наконецъ, Пушкинъ попадаетъ въ Царскосельскій лицей. Товарищеская среда его всецѣло ограничивалась рамками родовитаго дворянства. Ученіе въ этой школѣ энциклопедическаго характера шло, какъ ученіе всей тогдашней дворянской молодежи, кромѣ учившейся у іезуитовъ, безъ послѣдовательно проведенной программы: учились, такъ сказать, „чему-нибудь и какъ-нибудь"; но зато времени и для самодѣятельности и для повѣсничества оставалось много. Лицеисты, надо сознаться, пользовались имъ и для того и для другого въ равной почти мѣрѣ. Эта свобода позволяла юношамъ, воспитывавшимся въ лицеѣ, впитывать въ себя и хорошія и дурныя стороны тогдашней русской интеллигенціи. Лицеисты рано кутили, подражали лейбъ-гусарскимъ офицерамъ, съ которыми по сосѣдству водили дружбу; но среди тѣхъ же гусарскихъ офицеровъ былъ и извѣстный Чаадаевъ, оригинальнѣйшій изъ русскихъ мыслителей начала XIX вѣка,—Чаадаевъ, котораго многіе узнавали въ Чацкомъ, но который безконечно глубже и умнѣе этого Грибоѣдовскаго героя. То, что происходило тогда въ свѣтскомъ обществѣ, было отлично извѣстно въ лицеѣ, и лицеисты воспитывались въ тѣхъ чувствахъ и тѣхъ настроеніяхъ, которыя переживались русскою интеллигенціей во время войны 12-го года и послѣ возвращенія арміи изъ похода. Близкій товарищъ Пушкина, И. И. Пущинъ разсказываетъ въ своихъ запискахъ, что будучи еще лицеистомъ, онъ посѣщалъ кружокъ Муравьевыхъ, изъ котораго образовалось первое тайное общество. Вотъ какъ описываетъ Пущинъ вліяніе на него этого кружка:

„Постоянныя наши бесѣды о предметахъ общественныхъ, о злѣ существующаго у насъ порядка вещей и о возможности измѣненія, желаемаго многими въ тайнѣ, необыкновенно сблизили меня съ этимъ мыслящимъ кружкомъ; я сдружился съ нимъ, почти жилъ въ немъ".

*Тотчасъ по выходѣ* изъ лицея Пущинъ вступилъ въ тай-

ное общество и вотъ какъ описываетъ онъ вліяніе на него этого факта:

„Эта высокая цѣль жизни,—говоритъ онъ,—самою своею таинственностью и начертаніемъ новыхъ обязанностей рѣзко и глубоко проникала въ мою душу. Я какъ будто вдругъ получилъ особенное значеніе въ собственныхъ своихъ глазахъ, сталъ внимательно смотрѣть на жизнь, во всѣхъ проявленіяхъ буйной молодости наблюдалъ за собой, какъ за частицей, хотя ничего не значащей, но входящей въ составъ того цѣлаго, которое рано или поздно должно было имѣть благотворное свое дѣйствіе“ *).

Нельзя забывать, что это испытывалъ одинъ изъ интимнѣйшихъ друзей Пушкина. Отголоски этихъ чувствъ не могли не передаваться и самому Пушкину и притомъ передаваться не однимъ Пущинымъ, а цѣлымъ рядомъ лицъ, съ которыми Пушкинъ былъ близокъ и которыхъ онъ любилъ и уважалъ. Натура страстная ко „всѣмъ впечатлѣніямъ бытія“, жившая болѣе впечатлѣніемъ, чѣмъ убѣжденіемъ, Пушкинъ не могъ такъ полно отдаться движенію, какъ Пущинъ и другой его лицейскій товарищъ — Кюхельбекеръ, отзывы о которомъ Пушкина полны такой трогательной нѣжности, но Пушкинъ переживалъ всѣ эти настроенія, переживая вмѣстѣ съ тѣмъ многое другое, что существовало въ его средѣ, но что было чуждо такимъ натурамъ, какъ Пущинъ и Кюхельбекеръ. Въ Пушкинѣ, какъ въ фокусѣ, отразилась вся жизнь его класса, со всѣми своими противорѣчіями. Его необыкновенная впечатлительность и воспріимчивость заставляла, какъ эхо, съ которымъ онъ сравнилъ поэта, отзываться на все.

„Пушкинъ,—пишетъ А. Н. Пыпинъ **)—велъ жизнь самую разсѣянную, бывалъ въ самыхъ разнообразныхъ кругахъ, любилъ быть въ аристократіи, къ которой имѣлъ слабость причислять себя и въ которой, ради этого тщеславія, хотѣлъ являться не поэтомъ, а „шестисотлѣтнимъ дворяниномъ“,—но много его симпатій было именно въ этомъ (декабристскомъ) кружкѣ. Живя въ Петербургѣ, и потомъ въ ссылкѣ въ южной Россіи, Пушкинъ сходился болѣе или ме-

*) Пыпинъ „Обществ. движ. при Ал. I“, 339.
**) Ibidem. 435.

нѣе близко со многими людьми, игравшими тогда или нѣсколько позже руководящую роль въ либеральномъ движеніи, а также въ тайномъ обществѣ. Таковы были его отношенія и встрѣчи съ А. А. Бестужевымъ, К. Ѳ. Рылѣевымъ, Н. И. Нестелемъ, Мих. Ѳ. Орловымъ. Выше мы назвали И. И. Пущина и П. Я. Чаадаева". Что Пушкинъ былъ фокусомъ своей среды, это понимали уже и современники. Тотъ же А. Н. Пыпинъ, у котораго мы заимствовали только-что приведенную цитату, въ другомъ своемъ трудѣ приводитъ такой отзывъ одного изъ современниковъ о Пушкинѣ: „Вообще Пушкинъ былъ *отголосокъ своего поколѣнія* со всѣми его недостатками и со всѣми добродѣтелями. И вотъ, можетъ быть, почему онъ былъ поэтъ истинно-народный, какихъ не бывало прежде въ Россіи" *).

Итакъ, Пушкинъ былъ фокусомъ своего класса—той дворянской интеллигенціи, съ которою мы только что познакомились. Этимъ опредѣляется содержаніе его поэзіи. Моментъ, представляемый имъ, былъ моментъ, когда русская интеллигенція, пробужденная къ жизни цѣлымъ рядомъ благопріятно сложившихся обстоятельствъ, стремилась жить возможно полною жизнью. Это была юность русскаго общества, юность полная бодрости, свѣжести, силъ, но уже окрашенная нѣкоторою грустью, вызываемой, какъ далеко не приглядным настоящимъ, такъ и сознаніемъ трудности борьбы въ будущемъ. Эта грусть еще не переходила въ ту щемящую тоску отчаянія, въ какую превратилась потомъ, она не разслабляла сознаніемъ безсилія, нѣтъ, она была только стимуломъ стремленія впередъ. Грусть эта, какъ раздумье юности, придавала жизни только поэтическую окраску, мягкость тоновъ. Никогда русская жизнь не была такъ поэтична, какъ въ это свое утро, обѣщавшее грозу, но не тотъ сѣрый день, который смѣнилъ его. Тотъ талантливый историкъ, характеристиками котораго мы неоднократно пользовались, такъ характеризуетъ колоритъ произведеній декабристовъ, отражавшій, конечно, настроенія этой части интеллигенціи 20-хъ годовъ. „Я не знаю,—говоритъ онъ,—какъ назвать этотъ колоритъ. Это соединеніе мягкой и ровной, совсѣмъ не рѣжущей мысли съ задушевнымъ и опрятнымъ чувствомъ, которое чуть окра-

*) „*Хар. лит. мнѣній*" (изд. I), стр. 43.

шено грустью; у нихъ всего меньше силы и желчи ожесточенія; такъ пишутъ хорошо воспитанные молодые люди, изъ которыхъ жизнь еще не опустошила юношескихъ надеждъ, въ которыхъ первый пылъ сердца зажгли не думы о личномъ счастьѣ, а стремленіе къ общему добру. Впрочемъ, мнѣ едва-ли нужно много говорить объ этомъ типѣ: мы его очень хорошо знаемъ по самому серьезному политическому произведенію русской литературы XIX вѣка; этотъ типъ, какъ живой, стоитъ передъ нами въ неугомонной и говорливой, вѣчно негодующей и непобѣдимо бодрой, но притомъ неустанно мыслящей фигурѣ Чацкаго; декабристъ послужилъ оригиналомъ, съ котораго списанъ Чацкій".

Такова была одна сторона настроеній поколѣнія 20-хъ годовъ, но рядомъ съ нею была и другая. Въ ней было больше личнаго, земного, чувственнаго. Здѣсь жажда личнаго счастья, личныхъ наслажденій—иногда невысокаго порядка играла главную роль. Она выражалась въ разгулѣ, но и въ этомъ разгулѣ, какъ въ идейномъ пуританствѣ другого теченія, было много юношеской свѣжести. Это былъ, если можно такъ выразиться, здоровый разгулъ, вызываемый прежде всего избыткомъ силъ.

Поэзія Пушкина объединяла въ себѣ обѣ эти струи. И бодрая грусть, и сильное общественное чувство, и жизнерадостность юности, полной избытка физическихъ силъ, и сливающійся съ нею эротическій элементъ, и пылкая насмѣшка живого ума, все это находило отголосокъ въ творчествѣ нашего поэта-эхо, какъ находило себѣ мѣсто въ современной ему жизни.

Первымъ крупнымъ произведеніемъ Пушкина была поэма „Русланъ и Людмила". Эта блестящая поэтическая шалость является всецѣло отраженіемъ той юношеской жизнерадостности, которой отдавалъ долгъ и великій поэтъ и современное ему общество. Жизнь кипитъ и брызжетъ въ этой поэмѣ, жизнь молодая, веселая, нѣсколько легкомысленная и не чуждая эротическихъ элементовъ. Отъ „Руслана" такъ и вѣетъ роскошною весной, обѣщающей знойное лѣто. Сила и искренность жизнерадостнаго чувства вноситъ въ поэму ту истинную, захватывающую поэзію, которой и слѣда не было не только въ произведеніяхъ піитовъ XVIII вѣка, но даже въ нѣсколько анемичныхъ поэмахъ Жуковскаго. „Русланъ"

былъ встрѣченъ восторженно. Несмотря на брюзжаніе нѣсколькихъ ревнителей хорошаго тона, смущенныхъ тѣмъ, что въ благородное общество героевъ поэмъ пришелъ такой неотесанный субъектъ, который говоритъ: „я ѣду, ѣду — не свищу", „молчи, пустая голова" и т. д., энтузіазмъ быть полный. Чѣмъ объяснить этотъ энтузіазмъ? Конечно, прежде всего талантомъ Пушкина, но не только имъ. „Русланъ" далеко не принадлежитъ къ числу совершеннѣйшихъ созданій нашего поэта, а черезъ нѣсколько лѣтъ общество довольно холодно встрѣчало лучшіе перлы его творчества. Загадка въ томъ, что въ „Русланѣ" впервые выражено было то настроеніе, которое испытывало общество, отражалось кипѣніе юношескихъ силъ и этимъ отзвукомъ впервые русская поэзія исполнила, свое назначеніе выражать жизнь. „Русланъ" первое истинно-русское поэтическое произведеніе,—русское не потому, что въ немъ передъ нами Кіевъ, князь Владиміръ и богатыри; во всемъ этомъ менѣе всего напоминающаго то, что оно долженствовало изображать; „Русланъ" русское произведеніе потому, что поэма эта отражаетъ дѣйствительное существовавшія въ русскомъ обществѣ, а не вычитанныя, настроенія.

Та же жизнерадостность юности, съ нѣсколько чувственною окраской, отразилась и въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина. Эти стихотворенія—по большей части подражанія Парни, но въ томъ-то и разница ихъ отъ прежнихъ подражаній, что у Парни Пушкинъ искалъ подходящей формы для выраженія существующихъ настроеній, которыя и были исходнымъ пунктомъ его поэзіи, тогда какъ прежде поэтъ исходилъ по большей части отъ иностраннаго образца, былъ движимъ не непосредственнымъ чувствомъ, а желаніемъ пересадить на русскую почву роскошный иноземный цвѣтокъ. Поэзія безъ непосредственнаго чувства не есть поэзія, и вотъ почему въ лицейскихъ стихотвореніяхъ Пушкина мы видимъ первые образцы истинной русской лирики. Существовавшее въ обществѣ сильное пробужденіе жизненныхъ силъ захватило юношу поэта, и онъ формулировалъ это возбужденіе въ стихахъ, часто грѣшныхъ, но прелестныхъ. Грѣшною поэзія Пушкина была потому, что такою была жизнь, *заключавшая* въ себѣ много наслѣдій барства вѣка Екатерины, *много плодовъ* крѣпостного права, — и потому, что

грѣшною всегда бываетъ полная силъ юность, какъ юность отдѣльной личности, такъ и общества. Эта чувственная сторона поэзіи Пушкина, отражавшая тотъ разгулъ, который существовалъ въ обществѣ, высказалась раньше. Содержаніе ея было элементарнѣе, проще и легче воспринималось; но, на ряду съ нею, въ поэзіи Пушкина рано начинаютъ звучать и иныя струны, струны звучныя, элегическія. Эти струны въ поэзіи Пушкина вызваны впервые личнымъ чувствомъ, неудачною, юношескою любовью его къ сестрѣ лицейскаго товарища—Бакуниной, но къ этому чувству уже рано примѣшивается то раздумье юноши, вступающаго въ жизнь, которымъ характеризуется настроеніе современнаго Пушкину общества. Такими настроеніями проникнуто „Посланіе къ Горчакову".

Здѣсь, наряду съ грустью, навѣянной неудачною любовью, слышится и тихая грусть, источникомъ которой является боязнь, что слава,—слава, которая суждена Горчакову, не будетъ удѣломъ поэта, котораго „стезя печальна и темна". Здѣсь личное настроеніе поэта совпадаетъ съ настроеніями общества, въ которомъ въ то время (стихотвореніе писано въ 1816 году) уже существовало нѣкоторое разочарованіе въ своихъ надеждахъ, сомнѣніе въ успѣхѣ того, что было цѣлью жизни. Далѣе это чувство разочарованія отразилось въ другомъ стихотвореніи—„Наслажденіе", тоже вызванномъ личнымъ чувствомъ.

Въ неволѣ скучной увядаетъ
Едва развитый жизни цвѣтъ.
Украдкой младость отлетаетъ,
И слѣдъ ея—печали слѣдъ!
Съ минутъ безчувственныхъ рожденья
До нѣжныхъ юношества лѣтъ,
Я все не знаю наслажденья,
И счастья въ томномъ сердцѣ нѣтъ!

* * *

Съ порога жизни въ отдаленье
Нетерпѣливо я смотрѣлъ:
Тамъ, тамъ, мечталъ я, наслажденье;
Но я за призракомъ летѣлъ.

Златыя крылья развивая,
Волшебной, нѣжной красотой
Любовь явилась молодая
И полетѣла предо мной.

* * *

Я мчался къ цѣли отдаленной,
Но цѣли милой не достигъ!..
Когда-жъ весельемъ окрыленный,
Настанетъ счастья быстрый мигъ?
Когда въ сіяньѣ возгорится
Свѣтильникъ тусклый юныхъ дней,
И мрачный путь мой озарится
Улыбкой спутницы моей?

Такія личныя настроенія подготовляли душу поэта къ воспріятію аналогичныхъ общественныхъ настроеній, имѣвшихъ уже иной источникъ и иное содержаніе. Такъ, въ стихотвореніи „Къ Чаадаеву", написанномъ тотчасъ по выходѣ изъ лицея, уже съ большою полнотой отражается общественное разочарованіе, весьма характерно переплетающееся у Пушкина съ отзвуками личнаго чувства.

Любви, надежды, гордой славы
Недолго тѣшилъ насъ обманъ:
Исчезли юныя забавы,
Какъ дымъ, какъ утренній туманъ!
Но въ насъ кипятъ еще желанья:
Подъ гнетомъ власти роковой
Нетерпѣливою душой
Отчизны внемлемъ призыванья!
Мы ждемъ съ томленьемъ упованья,
Минуты вольности святой,
Какъ ждетъ любовникъ молодой
Минуты сладкаго свиданья.
Пока свободою горимъ,
Пока сердца для чести живы,
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ
Души высокіе порывы.
Товарищъ, вѣрь: взойдетъ она,
Заря пленительнаго счастья,
*Россія* встрянетъ ото сна...

Любовь и слава, сравненіе ожиданія вольности съ ожиданіемъ любовницы, все это очень характерно, какъ показатель того, какъ личные и общественные элементы сливались въ душѣ Пушкина, покоясь на одномъ основаніи—на чувствѣ. Много существуетъ мнѣній о поверхностности общественныхъ увлеченій Пушкина, о „наносности“ мнѣній его юности и т. д. Противорѣчія въ его сужденіяхъ во второй половинѣ его жизни даютъ основаніе людямъ самыхъ разнообразныхъ направленій считать Пушкина „своимъ“ и, сообразно съ этимъ, относить все, что въ мнѣніяхъ поэта несогласно съ ихъ собственными мнѣніями, къ категоріи „наноснаго“, „поверхностнаго“ и т. д. Не входя въ детальное разсмотрѣніе мнѣній подобнаго рода, мы считаемъ необходимымъ, однако, указать, что съ такимъ же, даже съ большимъ, успѣхомъ „наносными“ можно признать и тѣ сужденія Пушкина, которыя онъ высказывалъ во второй половинѣ своей жизни,— мы говоримъ: съ большимъ успѣхомъ потому, что въ мнѣніяхъ второй половины много противорѣчій, которыхъ нѣтъ въ первой. Строгимъ послѣдователемъ какой-нибудь доктрины Пушкинъ не былъ, но онъ чувствовалъ и мыслилъ такъ, какъ чувствовали и мыслили люди его круга и поколѣнія, и въ этомъ смыслѣ онъ былъ послѣдовательнымъ, пока жилъ въ обществѣ людей 20-хъ годовъ, людей того поколѣнія, выразителемъ котораго онъ былъ. Благодаря своей отзывчивости, живя тѣми впечатлѣніями, которыя давала ему среда, Пушкинъ, дѣйствительно, занималъ въ обществѣ 20-хъ годовъ ту роль, какую онъ приписываетъ себѣ въ стихотвореніи „Аріонъ“, написанномъ послѣ гибели его друзей.

Насъ было много на челнѣ:
Иные парусъ напрягали,
Другіе дружно упирали
Въ глубь мощны веслы. Въ тишинѣ,
На руль склонясь, нашъ кормщикъ умный
Въ молчаньѣ правилъ грузный челнъ;
А я—безпечной вѣры полнъ—
Пловцамъ я пѣлъ... Вдругъ ловко волнъ
Измялъ съ-налету вихорь шумный...
Погибъ и кормщикъ и пловецъ!
Лишь я, таинственный пѣвецъ,
На берегъ выброшенъ грозою.

Я гимны прежніе пою,
И ризу влажную мою
Сушу на солнцѣ подъ скалою.

А. Н. Пыпинъ, характеризуя отношеніе Пушкина къ людямъ 20-хъ годовъ, говоритъ:

„Въ запискахъ современниковъ остались любопытныя воспоминанія о томъ, какъ живо завлекала его (Пушкина) мысль о тайномъ обществѣ; друзья, члены общества, скрывали отъ Пушкина его существованіе, но онъ угадывалъ, что общество есть, и огорчался, что его не принимаютъ. Одинъ изъ современниковъ разсказываетъ, что, когда въ 1827 г. Пушкинъ простился съ А. Г. Муравьевой, ѣхавшей въ Сибирь къ своему мужу Никитѣ, онъ сказалъ ей: „я очень понимаю, почему эти господа не хотѣли принять меня въ свое общество; я не стоилъ этой чести".

„Извѣстны, продолжаетъ А. Н. Пыпинъ, его посланія къ Чаадаеву, который также принадлежалъ къ этому кругу, посланія къ Пущину, и въ числѣ ихъ одно посланіе ему въ Сибирь. Изъ нихъ видно, что симпатія Пушкина къ этимъ лицамъ сопровождалась согласіемъ мнѣній и идеаломъ. Къ этому времени относится цѣлый рядъ его мелкихъ стихотвореній и эпиграммъ, имѣвшихъ довольно положительный общественный смыслъ" *). Если положительный общественный смыслъ признается почтеннымъ ученымъ за мелкими стихотвореніями и эпиграммами, то тѣмъ болѣе нужно его признать за такими стихотвореніями, какъ „Деревня", представляющими собой поэтическую формулировку общественныхъ идеаловъ момента.

Это стихотвореніе лучше всего свидѣтельствуетъ, что Пушкинъ думалъ и чувствовалъ, какъ лучшіе люди его вѣка, и что онъ былъ дѣйствительно такимъ пѣвцомъ на челнѣ 20-хъ годовъ, какимъ рисуетъ онъ себя въ стихотвореніи „Аріонъ".

Но надъ пѣвцомъ стряслась бѣда раньше, чѣмъ погибъ челнъ. Первые порывы той грозы, которая опрокинула челнъ и погубила пловцовъ, вырвали изъ ихъ среды пѣвца. Судьба

*) „*Характ. лит. мнѣній*" 42.

переноситъ Пушкина сперва на югъ, потомъ въ Михайловское.

Надо сознаться, что, въ итотѣ, судьба оказалась въ данномъ случаѣ къ нему заботливою. Впечатлѣнія юга дали много новаго матеріала его творчеству; подъ голубымъ небомъ Крыма и Кавказа, на берегу раскошнаго южнаго моря его талантъ набирался новыхъ силъ, а временное изгнаніе сохранило его, быть можетъ, отъ участи его друзей, участи, впрочемъ, можетъ быть, менѣе тяжелой, чѣмъ участь Пушкина. Какъ бы то ни было, здѣсь, въ его поэзіи является новая струя — байронизмъ. Какъ ни далеки были по характеру дарованія эти два поэта, Байронъ на время овладѣваетъ душой Пушкина.

Почему? Съ одной стороны, воздѣйствіе поэзіи Байрона, поэта грандіознаго въ мірѣ чувствъ и природы, подготовлялось впечатлѣніями Крыма и Кавказа, — впечатлѣніями грандіозными для жителя сѣверной русской равнины, но, съ другой стороны, воспріятіе Байроновскихъ настроеній обусловливалось тѣми настроеніями, какія существовали въ тогдашнемъ обществѣ. Разочарованіе и чувство протеста все росли въ кругу русской интеллигенціи подъ вліяніемъ сгущавшейся реакціи, грусть переходила въ негодованіе, приближался взрывъ. Въ такую эпоху Байронъ, борецъ за свободу Греціи и пѣвецъ неукротимой свободы духа, былъ самымъ подходящимъ „властителемъ думъ". Байронизмъ носился въ воздухѣ, находя опору въ русской дѣйствительности. Съ Байрономъ познакомилъ Пушкина Раевскій, свой человѣкъ среди декабристовъ, и время увлеченія Пушкина Байрономъ было, вмѣстѣ съ тѣмъ, временемъ сближенія его съ членами южнаго тайнаго общества, болѣе радикальнаго, чѣмъ сѣверное. Какъ раньше въ „Русланѣ", теперь въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ", „Цыганахъ" Пушкинъ облекалъ въ поэтическую форму тѣ настроенія, которыми жило тогдашнее общество. Воспринимая всѣ вѣянія, онъ оставался поэтомъ-эхо, оставался выразителемъ той прогрессивной части русской интеллигенціи, съ которою жилъ одною жизнью, и отъ которой нѣсколько отдѣлила его только новая ссылка въ Михайловское. Онъ былъ пѣвцомъ своей бурной и поэтичной эпохи.

Иные парусъ напрягали,
Другіе дружно упирали
Въ глубь мощны веслы....

А онъ,—„безпечной вѣры полнъ, пловцамъ онъ пѣлъ“....

---

## III.

Вторичная ссылка Пушкина въ с. Михайловское впервые нѣсколько отдѣляетъ его того общественнаго фона, съ которымъ онъ до сихъ поръ былъ такъ тѣсно связанъ. Здѣсь послѣ отъѣзда семьи отца, пребываніе котораго подъ одной кровлей съ опальнымъ сыномъ скоро стало невозможно, Пушкинъ остается въ одиночествѣ со своею старухой-няней, лишь время отъ времени посѣщая въ сосѣднемъ Тригорскомъ семью Осиповыхъ-Вульфъ. Здѣсь Пушкинъ окруженъ былъ обстановкой, дававшей совершенно иныя впечатлѣнія, чѣмъ раньше. Бурная жизнь въ кипѣвшемъ, волнуемомъ разными чувствами и стремленіями петербургскомъ обществѣ, впечатлѣнія Крыма и Кавказа, столь новыя и сильныя для сѣверянина, гармонирующее съ ними воздѣйствіе поэзіи Байрона, наконецъ, жизнь въ полу-азіатскомъ Кишиневѣ и полу-европейской Одессѣ, разнообразившаяся общеніемъ съ членами южнаго общества, всѣ эти впечатлѣнія смѣнились идиллической обстановкой Тригорскаго и уединеніемъ Михайловскаго. Такая перемѣна не могла не вызвать перемѣны и въ душѣ поэта, столь чуткаго къ впечатлѣніямъ, и не отразиться на содержаніи творчества его. Съ этого періода въ творчествѣ Пушкина ослабѣваетъ общественная струя, и вмѣстѣ съ тѣмъ появляется склонность къ созданію произведеній, и по темѣ и по настроенію далекихъ отъ современности. Только „Евгеній Онѣгинъ“, задуманный и начатый уже раньше (въ 1822 г.), остается въ этотъ періодъ и продолжаетъ оставаться еще долго связующимъ звеномъ съ прежнимъ направленіемъ творчества Пушкина. „Евгеній Онѣгинъ“ съ точки зрѣнія общественной, представляетъ собой болѣе совершенную попытку осуществленія той же цѣли, какую ста-

вилъ себѣ поэтъ еще въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ“, позднѣе въ „Цыганахъ“,—отразить господствовавшее въ большинствѣ общества настроеніе разочарованности. Еще въ 1821 г. Пушкинъ писалъ Горчакову:

„Характеръ Плѣнника неудаченъ. Это доказываетъ, что я не гожусь въ герои романтическаго стихотворенія. Я въ немъ хотѣлъ изобразить это равнодушіе къ жизни и къ ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи 19 вѣка“.

Такимъ образомъ, герой „Кавказскаго Плѣнника“ въ глазахъ самого поэта былъ такимъ же героемъ своего времени, какимъ позднѣе явился Онѣгинъ; тотъ и другой предназначены были выразить настроеніе общества, точнѣе, одну изъ сторонъ этого настроенія, къ которой поэтъ относился отрицательно, но которой былъ не чуждъ самъ. Задача поэмъ, написанныхъ и задуманныхъ на югѣ, была задачей общественнаго характера, тѣсно связанной съ современностью; такой задачи Пушкинъ не ставитъ себѣ болѣе послѣ Онѣгина. Произведенія, задуманныя и написанныя въ Михайловскомъ и позже, далеки отъ современности и являются результатомъ замкнутости поэта въ себѣ. Этимъ обусловливается гораздо болѣе холодное отношеніе общества къ этимъ произведеніямъ, чѣмъ къ первымъ, въ большинствѣ случаевъ находящееся въ противорѣчіи съ достоинствами тѣхъ и другихъ. Интересы, которыми жилъ Пушкинъ въ Михайловскомъ, были тѣми интересами, которые могла ему дать обстановка Михайловскаго и условія заточенія. Поэтъ-эхо остался вѣренъ себѣ, и тутъ онъ отразилъ то, что его окружало. Досуги свои поэтъ дѣлилъ болѣе всего съ старушкой няней Ариной Родіоновной, а черезъ нее знакомился со сказочною поэзіей. Вліяніе этой исторической старушки въ эту пору, намъ кажется, должно было быть сильнѣе, чѣмъ въ дѣтствѣ. Дѣтскія впечатлѣнія не помѣшали Пушкину быть въ лицеѣ „французомъ“ и, вѣроятно, въ значительной степени изгладились, если и были сколько-нибудь сильны. Здѣсь, въ Михайловскомъ, въ изгнаніи старушка въ часы невольнаго досуга знакомила поэта съ сокровищами народной поэзіи, если не впервые, то снова. Для эстетически-развитаго поэта, захваченнаго уже вѣяніями романтизма того литературнаго теченія, на знамени котораго написано слово „народность“,

своеобразная поэзія народной пѣсни и сказки, должна была явиться истиннымъ откровеніемъ. Этотъ сказочный міръ увлекалъ поэта и доставлялъ ему новый запасъ образовъ. Правда, большинствомъ этого матеріала Пушкинъ воспользовался значительно позднѣе, но уже въ періодъ пребыванія въ Михайловскомъ онъ пробуетъ свои силы въ подражаніи народной пѣснѣ и воспроизведеніи народныхъ повѣрій, Таково стихотвореніе „Стрекотунья-бѣлобока", „Женихъ". Кромѣ сказокъ няни, Пушкинъ записываетъ пѣсни, тетрадь которыхъ была потомъ въ рукахъ Кирѣевскаго. Однимъ словомъ, здѣсь Пушкина все болѣе и болѣе захватываетъ тотъ романтическій интересъ къ народности, который выражался главнымъ образомъ во вниманіи къ поэтической сторонѣ народнаго быта. Въ идейномъ смыслѣ это было шагомъ назадъ сравнительно съ тѣмъ декабристскимъ отношеніемъ къ народу, которое мы видимъ въ стихотвореніи „Деревня", но за то этотъ романтическій интересъ былъ необходимымъ приступомъ къ дѣйствительному изученію народа, отношенія къ которому декабристовъ были слишкомъ теоретичными, исходящими изъ апріорныхъ посылокъ. Собираніемъ пѣсенъ и сказокъ начиналось знакомство интеллигенціи съ народомъ не только у насъ на Руси.

Романтическій интересъ къ народности долженъ былъ привлечь вниманіе Пушкина и къ прошлому народа. Интересъ этотъ зародился у Пушкина не въ разсматриваемый нами періодъ, здѣсь онъ только развился и окрѣпъ. И раньше Пушкинъ занимался родною исторіей и пытался пользоваться ею, какъ матеріаломъ для поэтическаго творчества, какъ пользовались ею и его друзья декабристы (Рылѣевъ), и писатели болѣе ранней эпохи. Но большая разница въ отношеніи къ этому матеріалу Пушкина прежде и теперь.

Въ болѣе ранній періодъ своей литературной дѣятельности Пушкинъ поступалъ со своимъ историческимъ матеріаломъ такъ же, какъ Рылѣевъ. Историческій сюжетъ былъ только формой, въ которую удобно было облечь чувство и идеи современности. Прошлое эксплоатировалось для настоящаго. Таковы были думы Рылѣева, таковы были замыслы пушкинскаго „Вадима", планъ драмы или поэмы изъ времянъ царевны Софьи. И въ „Вадимѣ" и въ предполагаемомъ произведеніи изъ временъ Софіи, на сценѣ заговоръ, не-

довольство народа, борьба за свободу, т. е. то, что существовало въ современой Руси и занимало умы, прошлое тутъ только обстановка. Совершенно иное отношеніе къ прошлому проявляетъ Пушкинъ, работая въ тиши Михайловскаго, вдали отъ современной жизни, надъ „Борисомъ Годуновымъ"; здѣсь прошлое овладѣваетъ поэтомъ, становится само цѣлью. „Борисъ Годуновъ" не имѣетъ уже ничего общаго съ современностью, это попытка разгадать и воспроизвести прошлое. Измѣнилось также и отношеніе Пушкина къ Байрону. Дарованія этихъ поэтовъ были весьма различны, натуры тоже Вліяніе Байрона на Пушкина обусловливалось тѣмъ, что англійскій поэтъ нѣкоторыми своими струнами отвѣчалъ русскому общественному настроенію, имѣвшему власть и надъ Пушкинымъ. Здѣсь, изолированный отъ вліяній современнаго ему общества, Пушкинъ перестаетъ такъ живо чувствовать обусловливавшее русскій байронизмъ настроеніе, и вліяніе Байрона очень быстро ослабѣваетъ. Мѣсто Байрона занимаетъ въ душѣ Пушкина, гораздо болѣе близкій ему по натурѣ и дарованію, Шекспиръ, этотъ геніальный художникъ немножко въ стилѣ пушкинскаго Моцарта. Пребываніе въ Михайловскомъ наложило отпечатокъ и на измѣненіе замысла „Евгенія Онѣгина". Сатирическій оттѣнокъ первой главы исчезъ, и Евгеній, долженствовавшій быть объектомъ сатиры, сталъ хорошимъ другомъ одинокаго своего творца. Идиллическая обстановка Тригорскаго отразилась введеніемъ въ поэму семейства Лариныхъ съ Татьяной, образъ которой не вяжется съ первоначальнымъ замысломъ поэмы. Носитъ слѣды перемѣны настроеній и лирика, въ которой въ Михайловскомъ исчезаютъ общественные элементы, элементы же личнаго чувства достигаютъ наивысшаго развитія. („Я помню чудное мгновенье" и т. д.). Такимъ образомъ, даже это непродолжительное удаленіе Пушкина отъ общества отразилось на содержаніи его поэзіи. Не получая впечатлѣній извѣстнаго порядка, онъ переставъ на нихъ реагировать, и въ поэзіи его перестали звучать соотвѣтствующія струны, такъ сильно звучавшія раньше. Но въ натурѣ Пушкина была потребность этихъ впечатлѣній, онъ не могъ жить безъ общества и тосковалъ въ своемъ Михайловскомъ заточеніи до того, что серьезно обдумывалъ планъ бѣгства за-границу, черезъ Дерптъ, куда онъ просился подъ предлогомъ лѣченія у ма-

вѣстнаго врача Мойера. Потребность общественной жизни такимъ образомъ сохранилась у Пушкина, а вмѣстѣ съ тѣмъ сохранялась и симпатія къ тѣмъ общественнымъ теченіямъ, которымъ онъ служилъ прежде, и тѣмъ людямъ, съ которыми онъ считалъ себя раньше единомышленникомъ. Сношенія съ этими людьми были рѣдки, переписка при тщательномъ надзорѣ за Пушкинымъ была затруднительна, а изъ друзей-декабристовъ только одинъ И. И. Пущинъ могъ пріѣхать къ Пушкину въ Михайловское; но позднѣйшіе отзвуки говорятъ о томъ, что друзья молодости навсегда остались для Пушкина дороги.

Въ концѣ 1825 года разыгралась въ Петербургѣ та кровавая драма, которая извѣстна подъ именемъ возмущенія декабристовъ. На судьбѣ Пушкина это событіе отразилось совершенно неожиданнымъ образомъ. Онъ ждалъ, что его привлекутъ къ дѣлу, какъ знавшаго о заговорѣ и находившагося въ сношеніяхъ съ большею частью заговорщиковъ, но его оставили въ покоѣ, и даже вскорѣ ему удалось добиться освобожденія изъ ссылки. Въ августѣ 1826 года Пушкину было приказано отправиться въ Москву, гдѣ тогда былъ дворъ по случаю коронаціи, и 8 сентября онъ явился къ императору, бесѣда съ которымъ, оставшаяся тайной, опредѣлила судьбу Пушкина. Пушкинъ получилъ разрѣшеніе жить въ столицахъ, и императоръ самъ взялся быть его цензоромъ. Такимъ образомъ Пушкинъ вернулся опять въ общество, изъ котораго его на время вырвала ссылка и безъ котораго онъ такъ тосковалъ. Но самое общество было уже далеко не тѣмъ, какимъ Пушкинъ его оставилъ. Немногочисленная русская интеллигенція была обезсилена тѣми потерями, которыя она понесла вслѣдствіе катастрофы 14 декабря. Не досчитался Пушкинъ многихъ изъ своихъ друзей и знакомыхъ. Одни погибли, какъ Рылѣевъ, Пестель, Муравьевъ, Бестужевъ и Каховскій, другіе были въ ссылкѣ, третьи, наконецъ, какъ Н. И. Тургеневъ, были за-границей. Не прошла, конечно, катастрофа безслѣдно и для тѣх которые уцѣлѣли: надежды прошлаго были уничтожены, пришлось мириться съ ихъ крушеніемъ и такъ или иначе устанавливать свои отношенія къ существующему порядку, непоколебимость котораго, очевидно была обезпечена надолго. Жизнь дворянской интеллигенціи потеряла свое прежнее содержаніе, само дворянство теряло

свое значеніе. Начиналось умираніе этого общественнаго класса, шедшаго до сихъ поръ впереди всего въ Россіи, класса, съ которымъ Пушкинъ былъ связанъ и рожденіемъ, и воспитаніемъ, и убѣжденіями, и предразсудками. Умираніе класса началось съ того, что за потерей лучшихъ элементовъ, выдвинулись худшіе и опредѣлили собой физіономію класса. Изъ аристократическаго общества исчезали серьезные интересы, идейность, уваженіе къ наукѣ, поэзіи, вмѣсто прежняго гвардейца-гуманиста господствовалъ гвардеецъ-кутила или даже полковникъ Скалозубъ. „Французская кадриль замѣнила Адама Смита", какъ характеризовалъ самъ Пушкинъ происшедшую въ обществѣ перемѣну. Такимъ нашелъ Пушкинъ покинутое имъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ столичное общество. Кругъ его прежнихъ друзей и знакомыхъ сильно порѣдѣлъ, не было въ числѣ ихъ и такихъ близкихъ ему людей, какъ лицейскіе товарищи, Пущинъ и Кюхельбекеръ, тѣмъ болѣе для него неизбѣжно было сближеніе съ тѣми изъ друзей, которые уцѣлѣли. Въ числѣ такихъ прежде всего были старые Арзамасцы: Жуковскій, кн. Вяземскій и др., кой-кто изъ безпечныхъ въ общественномъ смыслѣ лицейскихъ товарищей, какъ баронъ Дельвигъ, новые знакомые вродѣ Языкова, съ которымъ Пушкинъ сблизился въ Михайловскомъ, все это были люди совершенно непохожіе на прежнихъ друзей Пушкина ни по складу ума, ни по воззрѣніямъ. Живя среди этихъ людей, Пушкинъ оставался въ сущности совершенно одинокимъ, но по воспріимчивости его натуры не могъ остаться свободнымъ отъ вліянія этой новой среды.

Отсюда та масса противорѣчій въ мнѣніяхъ Пушкина, съ которой мы встрѣчаемся въ этотъ періодъ его жизни. Съ одной стороны, въ немъ оставались сильны отголоски прошлаго, близкаго дорогого ему по духу, съ другой стороны, наряду съ ними являются совершенно противорѣчащіе имъ отзвуки новаго. Между поэтомъ и обществомъ существовалъ разладъ, но поэтъ продолжалъ быть эхомъ и отражалъ то, что существовало въ обществѣ, на ряду съ отголосками прошлаго. Дѣло осложнялось отношеніями поэта къ власти, къ которой онъ сталъ послѣ свиданія съ императоромъ въ положеніе человѣка обязаннаго благодарностью. Это должно было вести къ диссонансамъ и въ душѣ и въ поэзіи Пушкина, и дис-

сонансы эти явились, такіе рѣзкіе диссонансы, какъ трогательное посланіе къ декабристу Пущину въ Сибирь и черезъ двѣ недѣли „Стансы“ къ императору Николаю, въ которыхъ тѣ же декабристы сравниваются съ „буйными стрѣльцами“. Поэтъ растерялся. Утративъ опору, какую онъ имѣлъ въ однородной, сочувствовавшей ему и вдохновлявшей его средѣ, онъ потерялъ подъ собой почву и безпомощно метался между вѣрностью прошлому и подчиненіемъ настоящему, метался до конца своихъ дней. Это была, конечно, тяжелая трагедія, и врядъ-ли участь Пушкина можно считать болѣе завидной, чѣмъ участь его друзей, томившихся „во глубинѣ Сибирскихъ рудъ“. Но, чтобы понять размѣры этихъ колебаній, необходимо болѣе детально познакомиться съ тѣми элементами, съ которыми Пушкину приходилось соприкасаться.

На первомъ мѣстѣ слѣдуетъ поставить старыхъ Арзамасцевъ, какъ людей, давно бывшихъ для Пушкина авторитетомъ, и людей, связанныхъ съ нимъ эстетическими интересами, которые, теперь, за исчезновеніемъ иныхъ, пріобрѣли для Пушкина еще болѣе важное значеніе. Первое мѣсто среди Арзамасцевъ занималъ Жуковскій, на котораго Пушкинъ смотрѣлъ до извѣстной степени какъ на учителя, и который былъ единственнымъ писателемъ, могущимъ претендовать на мѣсто, близкое къ Пушкину; нельзя забывать также, что Жуковскій оказывалъ Пушкину весьма существенныя услуги, и такимъ образомъ Пушкинъ связанъ былъ съ нимъ и чувствомъ благодарности. Близость съ Жуковскимъ должна была положить отпечатокъ на воззрѣнія Пушкина. Но что такое представлялъ въ это время Жуковскій?

„Его содержанія, говоритъ о Жуковскомъ А. Н. Пыпинъ, достало только для эпохи, непосредственно слѣдовавшей за Карамзинымъ для перваго и отчасти второго десятилѣтія нашего вѣка (XIX); затѣмъ время перегнало его, и онъ остался внѣ движенія, происходившаго съ этихъ поръ. И не надо вовсе думать, чтобы въ этомъ былъ виноватъ европейскій романтизмъ. Напротивъ, содержаніе европейскаго романтизма было гораздо шире, но Жуковскій и въ его кругѣ взялъ только немногое, что отвѣчало его сентиментальнымъ наклонностямъ, и не замѣтилъ болѣе крупныхъ вещей, или чувствовалъ къ нимъ антипатію. Онъ понялъ европейскій романтизмъ съ той узкой точки зрѣнія, съ какой наша литера-

тура смотрѣла часто на европейскую, вылавливая изъ нея отдѣльные отрывки и не разумѣя всего широкаго ея смысла" *).

Если даже поэтическаго содержанія Жуковскаго хватило только до появленія Пушкина, то еще бѣднѣе было его общественное содержаніе.

„Жуковскій, говоритъ А. Н. Пыпинъ нѣсколько ниже, былъ чуждъ вопросамъ, волновавшимъ жизнь, не только, какъ поэтъ, но и какъ человѣкъ. Въ свое время онъ былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ членовъ „Арзамаса", въ которомъ собирались писатели этой первой романтической школы и друзья, раздѣлявшіе ихъ мнѣнія. Мы указывали въ другомъ мѣстѣ, что общественный индифферентизмъ составлялъ существенную черту Арзамаса" **).

Тотъ же А. Н. Пыпинъ приводитъ относящееся еще къ 1818 г. мнѣніе далеко не отличавшагося либерализмомъ Дмитріева, что послѣ назначенія, полученнаго Жуковскимъ при дворѣ, поэтъ начинаетъ превращаться въ придворнаго. Такимъ образомъ и односторонняя сентиментальность поэзіи, и безучастность къ общественной жизни и склонность превратиться въ придворнаго, все это представляло въ Жуковскомъ рѣзкій контрастъ съ настроеніями 20-хъ годовъ, раздѣлявшимися Пушкинымъ. Но въ поэзіи и мнѣніяхъ Жуковскаго было нѣчто такое, что являлось, такъ сказать, находкой для человѣка, выбитаго изъ колеи, потерявшаго почву подъ собой. Это было поэтическое оправданіе примиренія съ дѣйствительностью, заимствованное тоже у западныхъ романтиковъ, хотя и лишенное той философской подкладки, которую это примиреніе имѣло на западѣ и въ послѣдующемъ поколѣніи романтиковъ у насъ.

Оправданіе это, выразившееся въ культивированіи наиболѣе заоблачныхъ стремленій нѣмецкаго романтизма, внушавшаго равнодушіе къ земному, Жуковскій заимствовалъ въ значительной степени у Шиллера, изъ котораго выбиралъ только то, что было ему близко. Это поэтическое оправданіе дѣйствительности должно было вліять на Пушкина, какъ въ силу своей поэтичности, такъ и въ силу того, что оно указывало выходъ изъ безвыходнаго на первый взглядъ

*) „Хар. лит. мнѣній", 33.
**) Ibidem, 35.

положенія, созданнаго крушеніемъ цѣлаго поколѣнія интеллигенціи вмѣстѣ съ его идеалами и надеждами. Это оправданіе дѣйствительности имѣло привлекательность не только для Жуковскаго и Пушкина; оно было воспринято изъ того же нѣмецкаго источника и наиболѣе мыслящими кружками 30-хъ годовъ, тою новою русскою интеллигенціей, въ которой господствовали идеи Шеллинга и Гегеля, и которая впослѣдствіи, исходя изъ этихъ же идей, пришла къ очень далекимъ отъ общественнаго индифферентизма выводамъ. Оправданіе дѣйствительности, съ которою нужно было примириться въ силу крушенія прежнихъ идеаловъ, было основнымъ мотивомъ общественныхъ настроеній второй половины 20-хъ и начала 30-хъ годовъ. Оно было неизбѣжнымъ результатомъ реакціи, такой же исторической необходимостью, какой былъ раньше подъемъ общественнаго чувства. Пушкинъ со свойственной ему отзывчивостью къ общественнымъ настроеніямъ воспринимаетъ это оправданіе дѣйствительности. Учителемъ его въ этомъ былъ, надо думать, Жуковскій, но характеръ примиренія у Пушкина иной, чѣмъ у Жуковскаго. Жуковскій просто не придаетъ значенія дѣйствительности, уносясь въ область мечты. Пушкинъ перестаетъ придавать значеніе тѣмъ формамъ дѣйствительности, которыя признавалъ прежде важными. Онъ старается найти хорошее въ тѣхъ формахъ дѣйствительности, которыя существуютъ; это то же положеніе Бѣлинскаго „что дѣйствительно, то разумно“, но безъ его философскаго обоснованія. Такое настроеніе выражено въ „Стансахъ“ къ императору Николаю („Въ надеждѣ славы и добра“), въ стихотвореніи „Друзьямъ“ („Нѣтъ, я не льстецъ“) и т. д. Это попытки примирить дѣйствительность съ прежними идеалами, которые еще не теряютъ силы надъ поэтомъ; отсюда такое странное чередованіе этихъ стихотвореній съ отзвуками прошлаго, вродѣ посланія къ Пущину. Впослѣдствіи взгляды Пушкина гораздо болѣе приблизились къ индифферентитму Жуковскаго, но слиться съ нимъ все же не могли. Минувшее не осталось для Пушкина безслѣднымъ, и отзвуки общественнаго чувства, хотя въ послѣднее время весьма различныя, не заглохли въ поэзіи Пушкина до конца. Не смотря на тѣсныя личныя *отношенія,* между Жуковскимъ и Пушкинымъ никогда не

было полнаго пониманія, всегда они оставались до извѣстной степени чужды другъ другу.

Но общество Жуковскаго и Арзамасцевъ было лучшее, что могло дать Пушкину та дворянская интеллигенція, среди которой такъ недавно кипѣла еще интенсивная жизнь. Жизнь эта теперь ушла изъ аристократической среды въ иную, только теперь пріобрѣтающую значеніе культурной силы. Въ аристократіи умственные интересы замираютъ и смѣняются пошлостью и пустотой, такъ сильно заклейменной болѣе желчнымъ преемникомъ Пушкина, Лермонтовымъ. И съ этой-то пошлой средой былъ неразрывно связанъ въ теченіе всей второй половины своей жизни поэтъ, знавшій лучшіе дни. Но существовалъ въ то время другой общественный слой, отчасти выдѣлившійся изъ той же аристократіи, но не носившій сословнаго характера, не претендовавшій на близость ко двору и правительству, ни на какую бы то ни было политическую роль, въ которомъ умственная жизнь продолжалась, хотя въ иномъ направленіи, чѣмъ въ дворянской интеллигенціи александровской эпохи. Этотъ слой былъ, такъ сказать, академической интеллигенціей, какъ по близости своей къ университетамъ, такъ и по духу своихъ идей. Какъ прежде центромъ умственной жизни была гвардія, такъ теперь становится имъ университетъ. Характерными чертами этой академической интеллигенціи является присутствіе въ ея рядахъ разночинцевъ и исчезновеніе даже среди родовитыхъ ея представителей кичливости своимъ аристократизмомъ, и вообще ясно выраженнаго сословнаго чувства, какимъ характеризуется интеллигенція предшествующаго момента. Содержаніемъ умственной жизни этихъ кружковъ была философія, въ частности нѣмецкая идеалистическая философія, сначала въ духѣ Шеллинга, потомъ въ духѣ Гегеля. Зародышемъ этой новой академической интеллигенціи были кружки, образовавшіеся въ второй половинѣ 20-хъ годовъ въ Москвѣ. Къ кружку этому принадлежали Веневитиновъ, кн. Одоевскій, Шевыревъ, Погодинъ и другіе. Впослѣдствіи этотъ кружокъ разрѣсся и далъ начало нѣсколькимъ весьма различнымъ по своему характеру общественнымъ теченіямъ. Къ этому кружку восходятъ ближайшіе источники западничества и славянофильства: нѣкоторые изъ представителей кружка, какъ Погодинъ и Шевыревъ, примкнули къ такъ называемой офи-

ціальной народности; но въ то время, когда этотъ кружокъ впервые вошелъ въ соприкосновеніе съ Пушкинымъ, все это еще не успѣло дифференцироваться, кружокъ представлялъ собой болѣе или менѣе однородную группу. Талантливѣйшимъ изъ представителей этого кружка былъ Веневитиновъ, умершій 22-хъ лѣтнимъ юношей въ 1827 году. Работа мысли въ этомъ кружкѣ была очень серьезна: здѣсь выковывались новыя устои, новое міросозерцаніе, болѣе отвлеченное, чѣмъ прежнее, но болѣе теоретически обоснованное. Примкнувши къ нимъ всецѣло, Пушкинъ могъ бы, продѣлывая вмѣстѣ съ ними тотъ процессъ мысли, который продѣлали они, найти, наконецъ, потерянную почву и снова сдѣлаться тѣмъ, чѣмъ онъ былъ по своей натурѣ,—выразителемъ, отголоскомъ современности. И Пушкинъ сходился съ этимъ кружкомъ въ лицѣ Веневитинова и усвоилъ кое-что изъ характеризовавшихъ кружокъ взглядовъ, но не лучшее и не существенное. Профессоръ Ждановъ въ своихъ интересныхъ лекціяхъ о Пушкинѣ указываетъ на это воздѣйствіе Веневитинова на Пушкина, отмѣчая, въ чемъ оно состояло. Вліяніе это выражалось въ усвоеніи Пушкинымъ Веневитиновскаго взгляда на поэзію и поэта.

„Интересно, говоритъ пр. Ждановъ, совпаденіе воззрѣній двухъ поэтовъ; изображеніе поэта у Веневитинова то же, что и у Пушкина: это человѣкъ, живущій внутри себя съ запасомъ силъ и тихихъ вдохновеній. Такое опредѣленіе Веневитинову было подсказано ближайшимъ его знакомствомъ съ нѣмецкими эстетическими теоріями („искусство есть откровеніе безконечнаго въ конечномъ“).

Совпаденіе это, какъ мы уже сказали, пр. Ждановъ объясняетъ вліяніемъ Веневитинова на Пушкина, а не обратно. Здѣсь мы должны повторить то же, что говорили раньше по поводу перемѣны отношенія Пушкина къ дѣйствительности. Новая теорія давала выходъ изъ безвыходнаго. Та роль поэта, какую намъ представляетъ стихотвореніе „Аріонъ“, стала немыслима, а вернуться къ прежнему взгляду на поэзію, какъ на пріятное развлеченіе, для Пушкина было невозможно, необходимо было осмыслить поэзію, и вотъ онъ воспринимаетъ новое толкованіе цѣли поэзіи, подсказываемое ему Веневитиновымъ, и изъ пѣвца, вдохновлявшаго пловцовъ въ ихъ опасномъ и трудномъ пути, обращается въ

жреца, служащаго новому божеству—красотѣ. Это также было необходимымъ результатомъ момента, когда въ области поэзіи и философіи сосредоточилось все содержаніе общественной жизни, и мы опять должны вспомнить Бѣлинскаго, который начиналъ свою дѣятельность съ весьма похожими взглядами на искусство. Но связи Пушкина съ московскими шеллингистами не сдѣлались особенно близкими. Вліяніе ихъ на Пушкина, повидимому, ограничилось указаннымъ Ждановымъ, и въ дальнѣйшей, наиболѣе важной и богатой результатами эволюціи этихъ кружковъ, Пушкинъ участія не принималъ. Отчего? Прежде всего, намъ кажется, потому, что Пушкинъ былъ уже слишкомъ сложившимся человѣкомъ, чтобы начать полную перестройку своего внутренняго міра, а для того, чтобы всецѣло примкнуть къ шеллингистамъ, нужна была именно полная перестройка. Пушкинъ, воспитанный на Вольтерѣ и французской литературѣ 18-го вѣка, былъ прежде всего скептикомъ, не особенно глубокимъ, но вполнѣ опредѣленнымъ. Это причина и того, что ему недоставало энтузіазма его друзей юности, въ которыхъ было много идеализма. Въ этомъ отношеніи Пушкинъ немножко отсталъ отъ своего поколѣнія, соприкасаясь съ вольтерьянствомъ Екатерининской эпохи. Тѣмъ труднѣе ему было слиться съ теченіемъ, въ которомъ мечтательный нѣмецкій идеализмъ былъ существеннѣйшей и лучшей стороной. Если переходъ отъ идеализма къ скептицизму возможенъ, то обратный переходъ, особенно при свойствахъ ума чуждаго мечтательности, положительнаго, притомъ гораздо болѣе живого, чѣмъ глубокаго, намъ кажется абсолютно немыслимымъ. Пушкинъ могъ симпатизировать молодымъ идеалистамъ, уважать ихъ, признавая и чуя въ нихъ умственную силу, частично воспринимать даже ихъ воззрѣнія, но всецѣло пойти за ними не могъ. Его отношенія къ шеллингистамъ были отношеніями скептически настроеннаго, скучающаго Онѣгина, къ Ленскому-идеалисту, воспитавшемуся „подъ небомъ Шиллера и Гете“.

Другою причиной, помѣшавшей Пушкину установить съ этой группой болѣе тѣсныя отношенія, которыя могли бы все-таки облегчить его одиночество, дать ему хотя бы въ отдѣльныхъ вопросахъ точки опоры, была его связь съ аристократіей, ставшая еще прочнѣе съ женитьбой Пушкина.

Его дворянская спесь въ значительной степени должна была отдѣлять его отъ лучшей части академической интеллигенціи, среди которой видную роль скоро стали играть разночинцы: Надеждинъ, Бѣлинскій, люди иного воспитанія, иныхъ привычекъ, не особенно пріятные къ тому же петербургскимъ друзьямъ. Наконецъ, придворное званіе, необходимость добывать большія средства, чтобы поддерживать свое положеніе въ свѣтскомъ обществѣ, все это отвлекало Пушкина отъ того, что дѣлалось въ московскихъ кружкахъ, и мѣшало сближенію Пушкина съ ними. Изъ представителей академической интеллигенціи Пушкинъ, по смерти Веневитинова, поддерживалъ наиболѣе близкія отношенія съ Погодинымъ, скоро всецѣло отдавшимся такъ называемой „оффиціальной народности" и ставшимъ въ контры съ болѣе прогрессивными теченіями въ средѣ новой интеллигенціи. Сближеніе съ Погодинымъ не прошло для Пушкина безслѣдно, и изъ всѣхъ новыхъ теченій оффиціальная народность болѣе всего положила на него свой отпечатокъ.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ о томъ, что такое была эта „оффиціальная народность". Оффиціальной народностью называется обыкновенно то общественное теченіе, которое развилось въ Россіи, начиная съ 14 декабря 1825 г., и послѣ нѣкотораго перерыва снова пріобрѣло силу около 20 лѣтъ тому назадъ. Сущность этого теченія въ томъ, что существовавшій въ моментъ его появленія порядокъ и складъ былъ признанъ истинно-русскимъ, вытекающимъ изъ коренныхъ, природныхъ свойствъ русскаго народа, которыя признавались отличными отъ свойствъ иныхъ народовъ, особенно западно-европейскихъ. Задача русскаго народа предполагалась въ сохраненіи этихъ якобы истинно-русскихъ особенностей, бывшихъ въ сущности лишь особенностями извѣстнаго историческаго момента. Теченіе это было, какъ видно изъ сказаннаго, строго консервативно, враждебно всякому общественному движенію и прогрессу, ибо таковой посягаетъ на признанныя незыблемыми основы. Оно опиралось на нѣкоторыя стороны романтизма, у котораго заимствовано было и самое названіе: „народность", но по существу оно было прямо враждебно романтизму, т. к. возводило въ идеалъ дѣйствительность, тогда какъ романтизмъ именно къ дѣйствительности относится всегда отрицательно, гдѣ бы онъ ни

видѣть свой идеалъ, въ прошломъ, въ заоблачныхъ мечтахъ или въ утопіи будущаго. Съ оффиціальной народностью могли идти рука объ руку только такіе романтики, какъ Жуковскій, усвоившій лишь внѣшнюю сторону романтизма. Погодинъ и Шевыревъ, примыкавшіе въ молодости къ кружку московскихъ шеллингистовъ, но не усвоившіе сути этого ученія, сдѣлались одними изъ наиболѣе ярыхъ приверженцевъ оффиціальной народности. Оффиціальная народность пріобрѣла господство въ правительственныхъ сферахъ, и сущность ея была кратко, но довольно рельефно формулирована министромъ народнаго просвѣщенія, Уваровымъ, въ словахъ „православіе, самодержавіе и народность". Оффиціальная народность имѣла нѣкоторыя точки соприкосновенія съ славянофильствомъ, что давало поводъ даже самимъ представителямъ этихъ двухъ теченій иногда считать себя союзниками; но по существу между славянофильствомъ и оффиціальной народностью разница была существеннѣе, чѣмъ между славянофильствомъ и западничествомъ. Послѣднія два теченія носили въ себѣ зачатки движенія, тогда какъ оффиціальная народность была консервативна. И вотъ такое теченіе является господствующимъ въ той средѣ, гдѣ пришлось доживать свои дни вчерашнему пѣвцу свободы, теперь камеръ-юнкеру Пушкину.

Оффиціальная народность, какъ и все, съ чѣмъ соприкасался Пушкинъ, не прошла для него безслѣдно. Въ „Бородинской годовщинѣ", „Клеветникамъ Россіи" звучатъ тѣ самодовольныя, въ духѣ оффиціальной народности, ноты, которыя даже далеко не крайне либеральнаго князя П. Вяземскаго заставили назвать эти произведенія шинельными стихами, которыхъ Пушкину должно стыдиться. Но характерно, что и здѣсь Пушкинъ отразилъ настроенія, носившіяся въ воздухѣ, понятныя не только людямъ, съ убѣжденіями которыхъ они гармонировали. Извѣстна статья о „Бородинской годовщинѣ" Бѣлинскаго, который всецѣло становится на сторону Пушкина. Вполнѣ оффиціальная народность никогда не овладѣвала Пушкинымъ. Его идеализація Петра была далека отъ оффиціальной народности, видѣвшей въ современности поворотъ отъ Петра, отрѣшеніе отъ петровской реформы. Его индифферентизмъ былъ скорѣе индифферентизмомъ разочарованія, чѣмъ самодовольства, которымъ харак-

теризовалась оффиціальная народность; оффиціальная народность лишь по временамъ захватывала его, какъ въ „Бородинской Годовщинѣ“ и „Клеветникамъ Россіи“, отчасти во французскомъ письмѣ къ Чаадаеву, въ отвѣтъ на присылку „философскаго письма“, которое по многимъ причинамъ могло не нравиться Пушкину.

Наряду съ проповѣдью самодовлѣющаго искусства, отголосками оффиціальной народности, открытымъ выраженіемъ политическаго индифферентизма („Изъ Пиндемонте“), стихотвореніями, носящими сервильный характеръ („Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ“) и т. д., у Пушкина не замираютъ и отзвуки прошлаго, какъ „Аріонъ“, „Посланіе въ Сибирь“ („Во глубинѣ сибирскихъ рудъ“). Правда, эти отголоски относятся къ годамъ ближайшимъ, къ 1825 году („Аріонъ“, позднѣйшее изъ этихъ стихотвореній, написано въ 1827 году), но послѣ Пушкинъ вспоминаетъ Радищева и критикуетъ его такъ, что цензура не пропустила этой критики. О Радищевѣ же онъ вспоминаетъ въ самомъ концѣ своей дѣятельности и, какъ бы подводя итогъ ей, говоритъ:

„И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что звуки новые для пѣсенъ я обрѣлъ,
Что вслѣдъ Радищеву воспѣлъ я свободу
И милосердіе воспѣлъ“.

Такимъ образомъ, если въ первой половинѣ своей литературной дѣятельности Пушкинъ былъ выразителемъ, отголоскомъ своего поколѣнія, то во второй, сохраняя свою отзывчивость, откликаясь на все, что находилъ въ обществѣ, онъ остается одинокимъ, потерявшимъ почву, путающимся въ противорѣчіяхъ. Поэтъ остался тотъ же, но не стало тѣхъ, кто былъ его опорой. Выразитель высшаго момента развитія дворянской интеллигенціи, переживъ ея крушеніе, оказывается не въ силахъ стать выразителемъ новой среды, а его собственная среда оказывается слишкомъ ничтожною и униженною для него. Въ этомъ его трагедія—трагедія человѣка, задыхающагося въ удушливой атмосферѣ умирающаго общественнаго класса и не могущаго отъ него оторваться.

---

## VI.

До сихъ поръ намъ приходилось говорить о Пушкинѣ, главнымъ образомъ какъ о представителѣ своего класса, выразителѣ наивысшаго момента въ развитіи этого класса; теперь придется попытаться дать характеристику Пушкина какъ художника. Мы сознаемъ всю трудность и отвѣтственность этой задачи и охотно бы уклонились отъ нея, особенно въ виду необходимости стать въ разрѣзъ съ весьма авторитетными сужденіями, облеченными къ тому же въ увлекающую талантливую форму; но, заговоривъ о Пушкинѣ, нельзя обойтись безъ вопроса о немъ, какъ о художникѣ, и мы должны дать характеристику, какая окажется въ нашихъ силахъ.

Мы указывали уже на двѣ струи, существовавшія въ молодой интеллигенціи начала 19-го вѣка, объединявшіяся характерною для обѣихъ жаждой жизни, кипѣніемъ юношескихъ силъ, но весьма разнородныя по ихъ проявленію. Въ одной струѣ эта жажда жизни находила свой исходъ въ разгулѣ, кутежахъ и физическихъ увлеченіяхъ, въ другой—въ идейной работѣ, въ пуританской строгости къ себѣ и въ самопожертвованіи. Мы видѣли, какъ та и другая струи отражаются въ поэзіи Пушкина, что въ лицейскихъ стихотвореніяхъ и заимственныхъ у Парни формахъ онъ передаетъ отголоски существущаго въ обществѣ настроенія, захватывавшаго и самого поэта. Мы видѣли, какъ подъ вліяніемъ первой неудачной любви Пушкина зарождается въ его лирикѣ грустное настроеніе, какъ къ нему присоединяются общественные элементы и отражается другая общественная струя. Мы указали, наконецъ, какъ лирика личнаго чувства получаетъ у Пушкина преобладаніе, но намъ не пришлось пока ничего сказать объ этой лирикѣ личнаго чувства, быть можетъ, характернѣйшемъ для Пушкина видѣ поэзіи. Та грусть, которую мы видѣли уже въ нѣкоторыхъ нашихъ стихотвореніяхъ, не покидаетъ Пушкина до конца. Но каковъ характеръ и источникъ этой грусти?

„Я таялъ: но среди невѣрной темноты
Другія милыя мнѣ видѣлись черты,

И весь я полонъ былъ таинственной печали,
И имя чуждое уста мои шептали".

Здѣсь грусть является результатомъ ранней неудачной любви, очевидно стоившей поэту страданій, которыя не могли изгладиться новыми увлеченіями.

.... „Но прежнихъ сердца ранъ, глубокихъ ранъ любви, ничто не излѣчило", говоритъ онъ въ своей элегіи: „Погасло дневное свѣтило". Эти „раны любви" унесли юность поэта, свѣжесть его души:

„Но гдѣ же вы, минуты умиленья,
Младыхъ надеждъ, сердечной тишины?
Гдѣ прежній жаръ и нѣга вдохновенья?
Придите вновь, года моей весны!"

Грусть поэта, какъ видимъ, не безнадежна: онъ призываетъ „года его весны",—слѣдовательно, надѣется, что они могутъ вернуться. Впрочемъ, иногда въ возможности возврата весны является сомнѣнье („Я пережилъ свои желанья", „Узникъ" и др.). Въ „Узникѣ" къ грусти присоединяется порывъ за предѣлы скучнаго міра, кажущагося поэту тюрьмой.—Соколъ у окна тюрьмы говоритъ узнику:

„Мы вольныя птицы, пора, братъ, пора!
Туда, гдѣ за тучей бѣлѣетъ гора,
Туда, гдѣ синѣютъ морскіе края,
Туда, гдѣ гуляетъ... лишь вѣтеръ да я".

Это стремленіе изъ тюрьмы жизни, объясняется, повидимому, разочарованіемъ въ чувствахъ ихъ.

„Врагу стѣснительныхъ условій и оковъ,
Не трудно было мнѣ отвыкнуть отъ пировъ,
Гдѣ *праздный умъ блеститъ, тогда какъ сердце дремлетъ,*
И *правду пылкую приличій гласъ объемлетъ,*
Оставя нѣжный кругъ безумцевъ молодыхъ,
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о нихъ".

Вотъ другой источникъ грусти—разочарованіе въ людяхъ, *признаніе,* что „праздный умъ блеститъ" въ нихъ, а „сердце

дремлетъ". Итакъ, люди и отношеніе къ нимъ—источникъ грусти Пушкина. Это для него весьма характерно. Люди и человѣческое все для него. Кругомъ человѣческаго ограничивается полетъ его мысли и поэзіи. У него нѣтъ стремленій разгадать тайны мірозданья, про него нельзя сказать, что „съ природой одною онъ жизнью дышалъ", у него нѣтъ сильнаго подъема религіознаго чувства. Кругомъ него все люди и земля. Это настроеніе мы назвали бы реализмомъ чувства, въ противоположность идеализму чувства, стремящагося за предѣлы человѣческаго, къ вѣчному, идеальному. Въ этомъ реализмѣ чувства, думается намъ, одна изъ причинъ того неугасавшаго даже въ послѣдніе годы жизни общественнаго интереса Пушкина, который сближалъ его съ декабристами. Мы сказали бы даже, что несмотря на весь политическій романтизмъ декабристовъ, реализмъ чувства былъ присущъ и имъ въ той же мѣрѣ, какъ и Пушкину: они также все время имѣли передъ собой человѣка съ его бытомъ и нуждами въ противоположность слѣдующему поколѣнію, которое начало съ абстракціи и только впослѣдствіи и совсѣмъ иначе подошло къ реальному человѣку. Для Пушкина человѣкъ былъ все, человѣкъ былъ исходною точкой. Онъ былъ большой этетикъ; но красота, которая имѣла надъ нимъ наибольшую силу, была красота человѣческая—красота женщины; было уже отмѣчено въ общемъ довольно равнодушное отношеніе Пушкина къ красотамъ природы. Пейзажъ у него занимаетъ безконечно меньшее мѣсто, чѣмъ у Лермонтова: въ этомъ отношеніи даже Байронъ не повліялъ на Пушкина. Характерно, что въ „Кавказскомъ плѣнникѣ", „Бахчисарайскомъ фонтанѣ", „Цыганахъ" изображеніе быта и людей столь далекихъ отъ поэта, какъ черкесы, цыгане или плѣнницы гарема, вышли гораздо ярче, чѣмъ изображенія природы, среди которой поэтъ жилъ. Характернымъ въ этомъ отношеніи является и то, что лучшею, наиболѣе колоритною, наиболѣе проникнутою настроеніемъ картиной южнаго берега Крыма у Пушкина является стихотвореніе „Нереида", гдѣ центръ—„Полубогиня", вздымающая младую грудь „среди зеленыхъ волнъ". Характерны въ этомъ отношеніи и многія сравненія Пушкина, гдѣ не для изображенія человѣческой красы берутся красы и образы въ природѣ, а наоборотъ. Такъ, виноградъ у Пушкина

„Продолговатый и прозрачный,
*Какъ перси дѣвы молодой*".

Пушкинъ въ эстетикѣ былъ грекъ-классикъ, выше всего ставившій человѣческую пластическую красоту. Мы не можемъ воздержаться, чтобы не привести цѣликомъ одного весьма характернаго въ этомъ отношеніи стихотворенія Пушкина „Буря".

„Ты видѣлъ дѣву на скалѣ,
Въ одеждѣ бѣлой надъ волнами,
Когда, бушуя въ бурной мглѣ,
Играло море съ берегами,
Когда лучъ молній озарялъ
Ее всечасно блескомъ алымъ,
И вѣтеръ бился и леталъ
Съ ея летучимъ покрываломъ?
Прекрасно море въ бурной мглѣ,
И небо въ блескахъ безъ лазури:
Но вѣрь мнѣ: дѣва на скалѣ
Прекраснѣй волнъ, небесъ и бури".

Реализмъ чувства и пластическое пониманіе красоты влечетъ за собой кристальную ясность поэмъ Пушкина: въ ней ничего туманнаго, ничего мистическаго, никакихъ полутѣней: все закончено, округлено и отчеканено съ классическою рельефностью формъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ въ поэзіи Пушкина нѣтъ экзальтацій, слишкомъ сильныхъ порывовъ. Сравнительно съ поэзіей Лермонтова, поэзія Пушкина даже какъ будто холодна. Мефистофель въ образѣ друга юности Пушкина, старика Вольтера, какъ будто всегда стоитъ около него и остроумнымъ скептицизмомъ предостерегаетъ отъ преувеличенія какого бы то ни было чувства. Во всякомъ случаѣ поэтъ владѣетъ своимъ чувствомъ, а не чувство поэтомъ. Въ настроеніяхъ Пушкина чувствуется сила натуры, сила крѣпкой личности, чѣмъ Пушкинъ отличается почти отъ всѣхъ своихъ преемниковъ, кромѣ Лермонтова. Женщина и любовь къ ней занимаютъ въ лирикѣ Пушкина очень видное мѣсто. Ею вдохновлены лучшія лирическія стихотворенія, возбуждены самыя сильныя чувства. У Пушкина есть нѣчто вродѣ культа женщины, напоминающаго

средневѣковой культъ. Женщина была поэзіей его жизни, и отношеніе къ женщинѣ въ лучшихъ своихъ проявленіяхъ полно граціозной идеализаціи („О дѣва-роза, я въ оковахъ", „Сожженное письмо" и т. д.). Съ этою идеализаціей женщины мы еще встрѣтимся. Наряду съ чувствомъ любви, видное мѣсто въ лирикѣ Пушкина занимаетъ все сгущающаяся грусть, которая въ послѣдніе годы становится доминирующимъ настроеніемъ („Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ", „Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье" и т. д.) Природа, какъ мы уже говорили, сравнительно мало вдохновляла Пушкина. Лучшимъ изъ лирическихъ стихотвореній навѣянныхъ природой, намъ кажется стихотвореніе „Кавказъ". Пушкинское отношеніе къ женщинѣ и пушкинская грусть были точно такъ же, какъ его реализмъ чувства, свойственны не только ему, но и средѣ, въ которой онъ жилъ. Воспитанное на французскій манеръ дворянство воспринимало многія „рыцарскія" черты своего образца, а вмѣстѣ съ тѣмъ отношеніе къ женщинѣ, въ которомъ, наряду съ эротическими, существовали и болѣе возвышенные, „рыцарскіе" элементы. На русской почвѣ эти черты приняли въ себя много наивной непосредственности, а Пушкинъ придалъ имъ много поэтической прелести, но въ основѣ это отголосокъ средневѣкового рыцарства, прошедшій сквозь призму французскаго псевдоклассицизма и французскихъ нравовъ. Такія стихотворенія, какъ „О, дѣва-роза, я въ оковахъ", были бы умѣстны и въ устахъ трубадура или менестреля. Такъ, отпечатокъ класса, когда этотъ классъ является съ ясно выраженными особенностями, ложится даже на интимныя чувства человѣка. Грусть Пушкина, какъ мы уже говорили, была тоже не только его грустью: возникнувъ изъ личнаго источника, она находила пищу въ настроеніи окружающихъ и, въ свою очередь, поэтически формулировала его.

Въ поэмахъ Пушкина мы найдемъ много общаго съ его лирикой. Прежде всего здѣсь тоже поэтъ начинаетъ съ выраженія жизнерадостнаго, нѣсколько проникнутаго эротизмомъ настроенія и переходитъ къ настроеніямъ болѣе глубокимъ, болѣе серьезнымъ и болѣе грустнымъ. „Русланъ и Людмила" выражаетъ первый моментъ. Это прелестная поэтическая шалость, проба пера начинающаго генія; поэма эта

дышитъ свѣжестью и колоритностью, но искать въ ней чего-нибудь больше шутки, шалости таланта—нельзя. Гораздо серьезнѣе тѣ поэмы, которыя написаны на югѣ подъ вліяніемъ Байрона. Здѣсь Пушкинъ пытается уже совершенно сознательно выразить то общественное настроеніе, которое онъ называлъ въ одномъ изъ писемъ „равнодушіемъ къ жизни и ея наслажденіямъ, преждевременною старостью души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи 19-го вѣка". Непосредственно на эту задачу отвѣчаютъ „Кавказскій Плѣнникъ", „Цыгане" и Евгеній Онѣгинъ", но къ нимъ болѣе или менѣе примыкаютъ еще двѣ поэмы: „Братья-разбойники" и „Бахчисарайскій Фонтанъ". Такимъ образомъ, самъ Пушкинъ считаетъ задачей „Кавказскаго Плѣнника" поэтическое выраженіе тѣхъ настроеній, которыя, исходя изъ разныхъ источниковъ, создавали разочарованность, грусть, отразившуюся, какъ мы видѣли, и въ лирикѣ Пушкина. Самъ плѣнникъ является „героемъ того времени", какъ назвалъ его Бѣлинскій. Въ поэмѣ „Кавказскій Плѣнникъ" Бѣлинскій указываетъ „мѣста, отличающіяся поразительною вѣрностью дѣйствительности времени, котораго пѣвцомъ и выразителемъ былъ поэтъ"; въ характеристикѣ героя тотъ же критикъ видитъ характеристическую картину пробудившагося въ лицѣ отдѣльнаго индивидуума сознанія общества:

„Проснулось сознаніе — и все, что люди почитали хорошимъ по привычкѣ, тяжело пало на душу человѣка, и онъ въ явной враждѣ съ окружающею его дѣйствительностью, въ борьбѣ съ самимъ собой, недовольный ничѣмъ, во всемъ видя призраки, онъ летитъ вдаль за новымъ призракомъ".

Нельзя сомнѣваться, что настроеніе, которое чувствовалось Пушкинымъ и выражено имъ по поэтическому чутью, гораздо яснѣе понято и точнѣе формулировано Бѣлинскимъ. Плѣнникъ, какъ Пушкинъ самъ, „узналъ невѣрной жизни цѣну" и полетѣлъ въ далекій край „съ веселымъ призракомъ свободы". Вотъ этотъ призракъ свободы, носившійся передъ людьми первой половины 20-хъ годовъ, и объединяетъ поэмы, въ которыхъ отразилось вліяніе Байрона. Алеко, герой Братьевъ-разбойниковъ и даже Онѣгинъ, одинаково, какъ и Кавказскій Плѣнникъ, ищутъ свободу. И въ этомъ исканіи ихъ главное значеніе для современниковъ.

Пробужденіе общества привело къ развитію индивидуальности, до того совершенно не замѣтной въ русской жизни, и пробудившаяся личность стала чувствовать себя слишкомъ тѣсно. Формулировать это настроеніе, столь новое въ русской жизни, было большимъ поэтическимъ подвигомъ, и этотъ подвигъ совершенъ былъ Пушкинымъ при помощи Байрона. Въ поэзіи Байрона выражался болѣе или менѣе аналогичный процессъ, хотя совершавшійся въ иныхъ рамкахъ и въ иномъ масштабѣ, почему эта поэзія и помогла Пушкину, какъ и многимъ другимъ изъ захваченныхъ этимъ процессомъ освобожденія личности русскихъ людей, дать себѣ нѣкоторый отчетъ въ этомъ состояніи. Эта сторона вліянія Байрона намъ кажется болѣе существенною, чѣмъ другая,—выразившаяся во вліяніи формы байроновской поэзіи, пріемовъ письма.

Разсматривая поэмы, написанныя и задуманныя Пушкинымъ на югѣ, какъ поэтическую формулировку развитія личности, начавшуюся въ первой четверти 19-го вѣка, мы должны нѣсколько иначе взглянуть на героя „Цыганъ"— Алеко, единогласно осужденнаго Бѣлинскимъ, Достоевскимъ и другими критиками. Моральная точка зрѣнія, съ которой разсматривался этотъ типъ, для насъ оказывается вполнѣ непригодною; мы не беремся судить Алеко, а, изучая его, какъ поэтическое выраженіе извѣстнаго соціальнаго явленія, должны признать образцомъ гораздо болѣе совершеннымъ, законченнымъ и содержательнымъ, чѣмъ Плѣнникъ. Алеко—это уже ясно выраженная личность, еще не сумѣвшая опредѣлить свое настоящее мѣсто въ обществѣ, ни границъ дозволеннаго личной волѣ, но уже не могущая обратиться въ безсознательную инертную частицу массы. Въ поэмахъ Пушкина Алеко наивысшее развитіе личности, и въ первой половинѣ 19-го вѣка только у Лермонтова развитіе личности идетъ дальше Алеко.

Въ русской интеллигенціи развитіе личности было затормозено катастрофой 14-го декабря, и жизнь матеріаловъ въ этомъ направленіи не давала; самъ же Пушкинъ, не чувствовалъ такого тяготѣнія къ вопросу о личности, какъ Байронъ, Лермонтовъ и только въ „Онѣгинѣ", задуманномъ и начатомъ на югѣ, возвращался къ нему. Съ той-же точки зрѣнія пріобрѣтаетъ значеніе и поэма „Братья-Разбойники",

которую довольно высоко ставилъ самъ Пушкинъ, Бѣлинскій же считалъ настолько неизмѣримо слабѣйшей „Цыганъ", что не могъ понять, какъ могли эти два произведенія быть написаны въ одномъ году. Въ героѣ „Братьевъ-Разбойниковъ" проснувшаяся индивидуальность выражена если не такъ полно, какъ въ Алеко, то все же полнѣе и рельефнѣе, чѣмъ въ Плѣнникѣ. Въ этомъ смыслѣ „Братья-Разбойники" являются посредствующимъ звеномъ между „Кавказскимъ Плѣнникомъ" и „Цыганами". Нѣсколько въ сторонѣ остается „Бахчисарайскій Фонтанъ"; въ основу этой поэмы положенъ разсказъ, слышанный Пушкинымъ отъ одной изъ Раевскихъ, и центромъ ея являются женскія фигуры Маріи и Заремы, но и здѣсь въ фигурѣ Гирея ожилъ тотъ же интересъ къ индивидуальности, и личность Гирея начертана въ духѣ героевъ Байрона съ ихъ неукротимою душой. На ряду съ выраженіемъ развившейся индивидуальности, мы видимъ въ раннихъ поэмахъ Пушкина ту-же идеализацію женщины, какъ и въ лирикѣ. Образы невѣдомой дѣвы, любимой Плѣнникомъ, Маріи въ „Фонтанѣ" стоятъ передъ нами, какъ призраки счастья, и эти призраки манили героевъ и самого поэта не меньше, если не больше, призрака свободы. Въ этихъ призракахъ столько воздушности, что въ нихъ нельзя видѣть реальныхъ образовъ; это мечта поэта, получившая художественное воплощеніе, но мечта эта, совсѣмъ неясная въ „Плѣнникѣ", становится болѣе воплощенною въ „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ". Впослѣдствіи, мы увидимъ, она сойдетъ вполнѣ на землю. Заканчивая нашъ, поневолѣ, бѣглый обзоръ поэмъ Пушкина, написанныхъ на югѣ, мы не можемъ не повторить словъ Бѣлинскаго, сказанныхъ имъ о „Бахчисарайскомъ Фонтанѣ", но по нашему убѣжденію, рисующихъ поэтическій колоритъ не только „Фонтана", но и „Плѣнника" и даже „Цыганъ", которыхъ Бѣлинскій, благодаря моральной оцѣнкѣ, выдѣляетъ изъ круга поэмъ этого періода, съ чѣмъ мы ни какъ не можемъ согласиться.

„При этой роскоши и невыразимой сладости поэзіи, которыми такъ полонъ „Бахчисарайскій Фонтанъ", въ немъ плѣняетъ еще эта легкая, свѣтлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навѣянная на поэта чудно прозрачными *ночами Востока и поэтическою* мечтою, которую возбудило въ

немъ преданіе о таинственномъ фонтанѣ Гиреевъ"... Вообще — „Бахчисарайскій Фонтанъ" — роскошно поэтическая мечта юности, и отпечатокъ юности лежитъ равно и на его достоинствахъ".

Этими словами критика-поэта, намъ кажется, великолѣпно характеризуется поэтическій колоритъ тѣхъ поэмъ Пушкина, сущность содержанія которыхъ мы видимъ въ выраженіи роста индивидуальности. Къ этимъ поэмамъ по сути замысла примыкаетъ и „Евгеній Онѣгинъ". Евгеній тоже человѣкъ съ пробудившеюся индивидуальностью, не умѣющій найти свое мѣсто въ дѣйствительности, онъ такъ же, какъ Алеко, еще не знаетъ границъ дозволеннаго личной волѣ (смерть Ленскаго): передъ нимъ такъ же носится призракъ свободы, отъ котораго онъ подъ конецъ готовъ отказаться изъ-за призрака счастья; однимъ словомъ, это тотъ же Алеко, но въ реальной обстановкѣ современной ему русской дѣйствительности, притомъ Алеко болѣе мягкій по натурѣ. По первоначальному плану поэма казалась Пушкину сатирой: надо думать, онъ задумалъ бичевать пустоту тѣхъ изъ своихъ друзей юности, у которыхъ „праздный умъ блеститъ, тогда какъ сердце дремлетъ". Но постепенно, по мѣрѣ созданія поэмы, герой ея выросъ и превратился въ единственнаго близкаго поэту человѣка. До извѣстной степени онъ отражалъ складъ понятій самого писателя во второй половинѣ 20-хъ годовъ. Тотъ же скептицизмъ, то же одиночество, чувства безцѣльности существованія, тоска, не разслабляющая, однако, воли, не переходящая въ отчаянье и безсиліе и въ концѣ-концовъ неспособность устоять передъ призракомъ счастья—вотъ черты, болѣе или менѣе общія какъ Онѣгину, такъ и его творцу. Онѣгинъ, какимъ онъ является въ позднѣйшихъ главахъ романа—это человѣкъ 20-хъ годовъ, не захваченный катастрофой 14-го декабря и не знающій, что ему дѣлать. Такимъ былъ и самъ Пушкинъ.

Мы не будемъ прилагать къ Онѣгину моральной мѣрки, какъ это дѣлается обычно, и пока удовольствуемся сказаннымъ о немъ. Рядомъ съ Онѣгинымъ предъ нами другой типъ—Ленскій. Это первая ласточка новой эры въ развитіи русской интеллигенціи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ развитіи личности на Руси, — представитель той шеллингистской, а впослѣдствіи—гегеліанской академической

интеллигенціи, которая шла смѣнить поколѣніе первой половины 20-хъ годовъ. Надо удивляться чуткости Пушкина, успѣвшаго уже въ 1823 г. уловить это новое настроеніе, достигшее полнаго развитія не ранѣе какъ черезъ 10 лѣтъ. Бѣлинскій считаетъ Ленскаго обреченнымъ на весьма прозаическое существованіе. По его мнѣнію, онъ романтикъ и больше ничего. Мы не согласились бы съ этимъ приговоромъ, и если бы начали вслѣдъ за Пушкинымъ и Бѣлинскимъ гадать о томъ, что вышло бы изъ Ленскаго, то сказали бы, что онъ долженъ бы былъ стать западникомъ или славянофиломъ, во всякомъ случаѣ пройти черезъ горнило гегеліанства въ московскихъ кружкахъ, гдѣ проходилъ это горнило самъ Бѣлинскій. У Ленскаго много идеализма и энтузіазма. Это шагъ впередъ сравнительно съ довольно поверхностнымъ скептицизмомъ Онѣгина. Если положительныя черты Ленскаго не выдвинуты впередъ, то потому, что таково пониманіе этого общественнаго явленія у Пушкина, которому ближе Онѣгинъ, чѣмъ Ленскій. Таковы мужскіе типы этой послѣдней пушкинской общественной поэмы и вмѣстѣ съ тѣмъ перваго русскаго общественнаго романа. Третьимъ важнымъ въ поэмѣ образомъ является образъ или типъ, какъ принято говорить, Татьяны. О Пушкинской Татьянѣ такъ много писалось, ей придавалось и придается такое огромное значеніе, что мы не безъ нѣкотораго смущенія рѣшаемся высказать свое сужденіе объ этомъ поэтическомъ образѣ. Мы не можемъ уловить этого образа съ такою же ясностью, какъ образъ Онѣгина и Ленскаго. Сколько мы ни всматриваемся въ этотъ образъ, мы не можемъ отыскать въ немъ тѣхъ чертъ, которыя въ немъ обыкновенно находятъ; мы даже находимъ мало характеризующихъ этотъ образъ чертъ, которыя позволили бы признать образъ Татьяны типомъ въ строгомъ смыслѣ этого слова; мы не можемъ понять взгляда на Татьяну, какъ на исключительную натуру, яркую характеристику этой натуры у Бѣлинскаго и т. д., но еще меньше можемъ раздѣлять насмѣшливое отношеніе къ этому образу Писарева. Обаяніе образа пушкинской Татьяны для насъ такъ же сильно, какъ для тѣхъ, кто возводилъ этотъ образъ въ типъ русской женщины и давалъ яркія увлекательныя характеристики этого „типа". Что же такое эта загадочная Татьяна, неуловимая и прелестная? Не рискуя впасть въ символизмъ.

мы скажемъ--она мечта поэта, мечта о счастьи. Та самая мечта, которая въ безплотіи еще носилась передъ нами въ „Кавказскомъ Плѣнникѣ", уже нѣсколько воплотилась въ Маріи „Бахчисарайскаго фонтана" и, наконецъ, вполнѣ воплотилась въ образѣ простой и милой, но далеко не исключительной русской дѣвушки, озаривъ ее своимъ ореоломъ. Какъ типъ, Татьяна, прежде всего, существо стихійное, „нѣмотствующее", какъ выражался о ней Бѣлинскій; въ ней есть задатки добра и глубины, но только задатки; развитіе этихъ задатковъ во второй половинѣ жизни Татьяны хотя свидѣтельствуетъ о серьезности ихъ, но идетъ очень недалеко.

Нѣтъ, не свойства Татьяны, а мечта поэта придаетъ ея образу ту неизъяснимую прелесть, которая чаруетъ всякаго, кто съ нимъ знакомится. Въ „Онѣгинѣ" Пушкинъ достигаетъ высшаго предѣла своего. Какъ бы ни высоки были чисто-художественныя достоинства позднѣйшихъ произведеній Пушкина, въ нихъ не было того творческаго подъема, того соотвѣтствующаго высоко художественной формѣ содержанія, которое было въ „Онѣгинѣ". „Онѣгинъ" былъ послѣднею попыткой Пушкина выразить русское общество съ совершившимися въ немъ процессами и, какъ таковая, эта поэма принадлежитъ къ первой половинѣ дѣятельности Пушкина, въ которую она была задумана и начата. Мы не будемъ говорить объ историческомъ значеніи „Евгенія Онѣгина", такъ какъ это привело бы насъ къ трудно разрѣшимому въ предѣлахъ находящагося въ нашемъ распоряженіи времени вопросу объ отношеніи Пушкина и Гоголя къ такъ-называемой „натуральной" школѣ въ нашей литературѣ; мы ограничимся только указаніемъ давно отмѣченной преемственности между Онѣгинымъ, Печоринымъ и героями Тургенева. Мы бы только нѣсколько расширили эту цѣпь преемственности, поставивъ въ началѣ ея героя „Кавказскаго Плѣнника", въ концѣ же Дмитрія Неклюдова изъ „Воскресенья" и героевъ Максима Горькаго. Все это выраженіе разныхъ моментовъ труднаго и болѣзненнаго процесса пробужденія въ русскомъ обществѣ вѣками дремавшей личности, пробужденія въ началѣ 19-го вѣка, захватывающаго только высшую аристократную, къ концу же этого вѣка дошедшаго до самыхъ низовъ общества, гдѣ вмѣсто барича Алеко явился столь же, какъ онъ, даже болѣе его ищущій свободы босякъ. Но если мы

не можемъ сравнивать художественной полноты и зрѣлости выраженія этого процесса въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ съ таковымъ же въ раннихъ поэмахъ Пушкина, то мы должны указать, что въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ процессъ этотъ не пошелъ дальше той ступени, на которой остановился Алеко. Очевидно, и въ самомъ Пушкинѣ и въ окружавшей его средѣ процессъ развитія личности послѣ 14-го декабря 1825 года остановился, почему и пересталъ занимать поэта, больше не возвращавшагося къ нему, какъ и вообще къ общественнымъ вопросамъ.

Поэмы, задуманныя Пушкинымъ послѣ отъѣзда съ юга, носятъ совсѣмъ иной характеръ. Смыслъ и суть ихъ иная, новая, но никоимъ образомъ не высшая, чѣмъ въ раннихъ поэмахъ. Художественная форма совершенствовалась у Пушкина и послѣ того, какъ онъ былъ оторванъ отъ общенія съ тою средой, которую выражалъ, но содержаніе только регрессировало за отсутствіемъ необходимаго прилива матеріала.

Первымъ проявленіемъ потери Пушкинымъ интереса къ пробуждающейся личности можно считать „Полтаву“. Эта поэма, какъ нарочно, навѣяна Байрономъ. Самый сюжетъ его указанъ Пушкину этимъ англійскимъ поэтомъ; но трактуется этотъ сюжетъ Пушкинымъ совсѣмъ не по-байроновски.

Бѣлинскій указалъ уже, что поэма эта осталась у Пушкина безъ героя, что Мазепа у Пушкина не болѣе, какъ мелкій интриганъ. Бѣлинскій же указалъ на то, что „Полтава“, несмотря на высоко-художественныя частности, не производитъ впечатлѣнія. Мы сказали бы, что въ ней нечему захватить читателя, возбудить его участіе и сочувствіе, какъ захватывала пробуждающаяся, мятежная личность гораздо болѣе раннихъ поэмъ. Симпатіи самого автора въ этой поэмѣ болѣе всего привлекаетъ Петръ. Здѣсь, какъ и въ „Стансахъ“ („Въ надеждѣ славы и добра“), сказывается идеализація началъ совершенно противоположныхъ и даже враждебныхъ свободному развитію личности, а такъ какъ личность должна являться центромъ поэмы по самому характеру этого поэтическаго вида, то и художественное достоинство *Полтавы, оказывается* весьма ослабленнымъ этимъ отсутст-

віемъ личности. Мы не можемъ согласиться съ мнѣніемъ Бѣлинскаго, что „Полтава", несмотря на свои недостатки,— шагъ впередъ въ творчествѣ Пушкина. Частности „Полтавы" (хотя бы напр. такія мѣста, какъ „Тиха украинская ночь"), дѣйствительно, говорятъ о томъ, что талантъ Пушкина достигъ въ это время высшаго сравнительно съ прежнимъ совершенства, но въ цѣломъ „Полтава" все-таки шагъ назадъ, такъ какъ въ ней исчезло то, что Бѣлинскій называлъ „паѳосомъ" поэмы, что мы назвали бы поэтической мыслью, и что дается только подъемомъ духа писателя, котораго у Пушкина, очевидно, не было во время сочиненія „Полтавы".

Мы не будемъ останавливаться на „Графѣ Нулинѣ", такъ какъ это въ сущности даже не поэма, а анекдотъ въ стихахъ, притомъ такъ сказать „скверный анекдотъ", хотя и разсказываемый съ мастерствомъ, обличающимъ великаго художника. Приблизительно то же мы сказали бы о „Домикѣ въ Коломнѣ".

Чтобы покончить съ поэмами Пушкина, мы должны сказать нѣсколько словъ о „Мѣдномъ всадникѣ", и „Родословной моего героя", этихъ отрывкахъ неудавшагося цѣлаго. Въ этихъ произведеніяхъ нашли выраженіе новые общественные взгляды Пушкина, сущность которыхъ была въ идеализаціи Петра и артистократизма. Какъ свидѣтельство о міросозерцаніи великаго поэта, это, конечно, интересно, интересно также недовольство героя Петромъ, отражавшее въ себѣ отношеніе къ этому историческому лицу оффиціальной народности и зарождающагося славянофильства. Съ другой стороны, интересно, что недовольство героя Петромъ карается безуміемъ. Петръ стоитъ какъ непоколебимая, абсолютная сила, передъ которой должна смиряться личность. Мы не можемъ не привести одного изъ сужденій объ этой поэмѣ Бѣлинскаго, которое, намъ кажется, лучше всего освѣщаетъ ея суть:

„Въ этой поэмѣ видимъ мы горестную участь личности, страдающей какъ бы вслѣдствіе избранія мѣста для новой столицы, гдѣ подверглось гибели столько людей,—и наше сокрушенное сочувствіемъ сердце, вмѣстѣ съ несчастнымъ, готово смутиться, но вдругъ взоръ нашъ, упавъ на изваяніе виновника нашей славы, склоняется долу,—и въ священномъ

трепетъ, какъ бы въ сознаніи тяжкаго грѣха, бѣжитъ стремглавъ, думая слышать за собой

„Какъ будто грома грохотанье,
Тяжеловѣсное скаканье,
По потрясенной мостовой".

Итакъ, личность преклоняется передъ той силой, которая идеализирована Пушкинымъ въ Петрѣ, каковы бы ни были послѣдствія проявленія этой силы (выборъ мѣста для столицы одна изъ частностей вмѣсто цѣлаго), личность не смѣетъ роптать, она должна смириться передъ величіемъ этой силы, она должна быть принесена ей въ жертву. Таковъ смыслъ этой поэмы. Если первыя поэмы Пушкина выраженіе пробудившейся личности, то здѣсь мы видимъ проявленіе подавленности личности, столь же коренившееся въ условіяхъ среды и эпохи. Но поэзія безъ личности обречена на гибель, и мы можемъ говорить только о частностяхъ поэмы, носящихъ много мрачной красоты, столь же отличающейся отъ красоты первыхъ поэмъ, какъ красота благоуханной южной ночи отъ красоты бури на сѣверномъ морѣ. Но что же мы можемъ сказать о поэмѣ какъ о цѣломъ? Здѣсь намъ опять придется повторить, что въ поэмѣ видна кисть великаго художника, есть великолѣпныя частности, вродѣ описанія наводненія или скачки Мѣднаго всадника, но въ цѣломъ она оставляетъ только недоумѣніе. Надо раздѣлять отношеніе Пушкина къ Петру, чтобы прочувствовать эту поэму, а раздѣлять это отношеніе не всякій можетъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что отдѣленіе Пушкина отъ той среды, съ которой онъ жилъ одною жизнью, очень рельефно отражается на его творчествѣ. Поэмы перваго періода, хотя и не совершенныя по формѣ, захватываютъ читателя юностью настроенія, вызываютъ сочувствіе къ пробуждающейся личности героевъ, тѣмъ больше говорили онѣ современнику, которому помогали разбираться въ сложныхъ чувствахъ пробуждающейся личности; поэмы позднѣйшей эпохи совершеннѣе по формѣ и частностямъ, но мало говорятъ или говорятъ „на языкѣ невнятномъ", какъ „Мѣдный *Всадникъ*". Талантъ развивался, но содержаніе поэзіи не *развивалось* вмѣстѣ съ нимъ. Намъ остается сказать о дра-

матическихъ попыткахъ Пушкина и его прозаическихъ произведеніяхъ. Среди драматическихъ попытокъ первое мѣсто занимаетъ „Борисъ Годуновъ". Это и наиболѣе крупная и наиболѣе глубокая и наиболѣе выражающая своего творца драматическая вещь Пушкина. Прибавить что-нибудь къ блестящей характеристикѣ этого произведенія, сдѣланной Бѣлинскимъ, врядъ-ли возможно. Мы позволили бы себѣ только усомниться въ томъ, что вина за отсутствіе драмы ложится на русскую исторію, а не на Пушкина. Самъ же Бѣлинскій указываетъ, что Годуновъ наиболѣе подходящая въ русской исторіи для драмы личность, и развиваетъ предъ нами истинно драматическія положенія въ его судьбѣ, но Пушкинъ послѣдовалъ за Карамзинымъ. Здѣсь, намъ кажется, кромѣ вліянія авторитета Карамзина были и другія причины. Пушкинъ, улавливая пробужденіе личности въ обществѣ, самъ былъ только-что пробудившеюся, но еще не сложившеюся личностью, въ немъ были задатки сильной индивидуальности, но они не развились окончательно, отчего ему удавалось созданіе только-что пробудившейся личности пригодной для поэмы, но не доступно было созданіе законченной, кристаллизировавшейся личности, нужное для трагедіи. Русская исторія виновата въ томъ, что изъ „Бориса Годунова" не вышло драмы, но русская исторія въ цѣломъ, вплоть до Александровской эпохи, которая создала Пушкина. Личность Пушкина была только-что пробудившаяся личность, но не сложившаяся, оттого какъ ни велики были ея данныя, она легко „безъ драмы" преклонилась передъ силой, идеализированной въ Петрѣ. „Борисъ Годуновъ" былъ первымъ произведеніемъ, гдѣ Пушкинъ отрѣшается отъ современности и ея настроенія. Въ выборѣ момента, быть можетъ, еще можно видѣть слѣды того же отношенія къ историческимъ сюжетамъ, которое наблюдаемъ въ „Вадимѣ". Эпоха даетъ возможность при болѣе или менѣе свободномъ обращеніи съ исторіей, воспользоваться этимъ сюжетомъ такъ же, какъ сюжетомъ „Вадима", или какъ пользовался Рылѣевъ своими сюжетами. Но отрѣшившись въ Михайловскомъ отъ постоянныхъ воздѣйствій среды, Пушкинъ отнесся къ своему сюжету какъ художникъ, что, конечно, очень увеличило цѣнность этого произведенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ было для Пушкина рѣшительнымъ шагомъ въ область чи-

стаго искусства. Къ этой области уже всецѣло принадлежатъ другія драматическія попытки „Скупой рыцарь“, „Каменный гость“, „Моцартъ и Сальери“, „Отрывки изъ Фауста“, „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“. Въ этихъ произведеніяхъ поэтъ является уже совершенно отдѣленнымъ отъ общества: его не волнуетъ ничто совершающееся въ современности (быть можетъ потому, что доступное его взору въ современности способно было только внушить отвращеніе). Онъ замыкается въ своей личности и въ этихъ произведеніяхъ его личность отражается, быть можетъ, съ наибольшею полнотой. Наиболѣе интересны въ этомъ отношеніи личности Моцарта и Донъ-Жуана. Это прежде всего натуры чисто-стихійныя, запасъ ихъ силъ неисчерпаемъ, въ нихъ кипитъ жажда жизни, жажда творчества, но они, что называется, „безъ руля и безъ вѣтрилъ“, въ нихъ еще гораздо больше инстинкта, чѣмъ сознанія. Они ближе къ тому жизнерадостному кипѣнію силъ, которое выражалось въ „Русланѣ и Людмилѣ“, чѣмъ къ начинающемуся раздвоенію сознанія, начинающемуся исканію „Кавказскаго Плѣнника“.

Это тоже только-что пробудившіяся личности, но въ моментѣ развитія, предшествующемъ „Кавказскому плѣннику“. Донъ-Жуанъ и Моцартъ это моментъ рожденія личности, первый проблескъ ея сознанія, когда она успѣла испытать одно только чувство избытка силъ, смѣшанное съ желаніемъ проявить ихъ. Какъ? зачѣмъ?—эти вопросы еще не приходятъ ей на умъ. Таковы же Альбертъ въ „Скупомъ рыцарѣ“ и „Сцены изъ рыцарскихъ временъ“, немножко, но только немножко отличается отъ нихъ Фаустъ, этотъ капризный мальчикъ, котораго капризъ уже является элементарнымъ проявленіемъ сознательной жизни. По отношенію къ „Кавказскому Плѣннику“ все это шагъ назадъ, возвращеніе къ личности стихійной, отъ личности, начинавшей сознавать себя.

Но въ то же время какъ много сходства въ этихъ герояхъ съ ихъ творцомъ! И творческая непосредственность геніальнаго Моцарта, и жажда жизни Донъ-Жуана, все время гонящагося за призраками счастья въ образѣ женщины, и эта упругость, свѣжесть натуры всѣхъ этихъ героевъ, все невольно напоминаетъ намъ самого Пушкина и его дивную, полную непосредственности и юности лирику. Личность поэта, *отдѣлившись* отъ идейно питавшей ее среды, вернулась къ

своему элементарному состоянію, начавшееся самоопредѣленіе ея въ обществѣ замерло, было подавлено, она преклонилась предъ статуей „Мѣднаго Всадника“ и сохранила только то, что уже могло погаснуть,—чувство избытка силъ и жажду жизни.

Но въ этихъ чувствахъ слишкомъ мало того, что нужно и для драмы и для поэмы: вотъ почему такія чудныя по формѣ произведенія, какъ „Каменный Гость“, „Моцартъ и Сальери“, слишкомъ мало трогаютъ насъ, во второмъ произведеніи наше вниманіе даже приковывается къ болѣе сознательной личности Сальери, тогда какъ вниманіе автора сосредоточено на Моцартѣ.

Подавленіе личности вообще является характерною чертой Пушкинскаго творчества, съ тѣхъ поръ, какъ онъ остался одинокимъ, потерявъ ту почву, которая содѣйствовала росту его личности, а такъ какъ въ поэзіи выраженіе личности поэта не менѣе важно, чѣмъ красота формы, то это обстоятельство имѣло чрезвычайно неблагопріятныя послѣдствія, именно ослабленіе содержательности поэзіи. Не имѣя возможности остановиться сколько-нибудь подробно на прозаическихъ произведеніяхъ Пушкина, за которыми признаемъ главнымъ образомъ историческое значеніе, какъ первыхъ образчиковъ русской художественной прозы, постараемся подвести итоги сказанному.

Пушкинъ былъ представителемъ того момента, когда пробудившаяся дворянская интеллигенція пыталась выйти изъ вѣкового пассивнаго состоянія, въ которомъ находилась она до времени одинаково со всѣмъ русскимъ народомъ.

Настроеніе ея было юношески бодрымъ съ оттѣнкомъ не нарушавшей этой бодрости грусти и недовольства; въ ней кипѣла идейная работа пробудившейся и самоопредѣлявшейся личности. Все это отразилъ въ своей поэзіи Пушкинъ, идейно питавшійся въ той средѣ, къ которой принадлежалъ, и съ крушеніемъ этой среды онъ оказался пережившимъ почву. Какъ художникъ—Пушкинъ пластикъ, ставящій въ центрѣ всего человѣка. Содержаніе его поэзіи—ниже формы ея, такъ какъ содержаніе въ большой мѣрѣ зависитъ отъ условій среды, которыя только въ началѣ

были для Пушкина болѣе или менѣе благопріятны. Элементарность содержанія поэзіи Пушкина помѣшала ему стать поэтомъ міровымъ, на что онъ имѣлъ права по силѣ своего таланта.

---

## V.

Лермонтовъ во многомъ является какъ бы продолжателемъ Пушкина, какъ бы попыткою закончить то, что не дала судьба закончить Пушкину. Хотя индивидуальность этихъ двухъ поэтовъ весьма различна, исторически они очень тѣсно связаны, быть можетъ болѣе, чѣмъ какіе-нибудь два другіе поэта. Драма жизни Лермонтова отчасти повтореніе, отчасти—дальнѣйшее развитіе драмы Пушкина. Болѣе или менѣе свѣтлый періодъ для Лермонтова былъ гораздо короче, мимолетнѣе чѣмъ для Пушкина, но за то безъисходность положенія, приведшаго къ концу, была еще непроглядиѣе чѣмъ для Пушкина. Лермонтовъ человѣкъ изъ того же общественнаго класса, какъ и Пушкинъ, но какъ бы затѣмъ, чтобы выразить моментъ культурнаго упадка этого класса, Лермонтовъ вышелъ изъ семьи менѣе интеллигентной. По отцу Лермонтовъ принадлежалъ къ среднему дворянству. Ю. П. Лермонтовъ, не смотря на свое происхожденіе отъ древней шотландской фамиліи, представлялъ собой „обломокъ игрою счастія обиженныхъ родовъ", былъ бѣденъ, не имѣлъ аристократическихъ связей и служилъ армейскимъ офицеромъ. По матери нашъ поэтъ находился въ родствѣ съ богатыми дворянскими семьями Арсеньевыхъ и Столыпиныхъ, принадлежавшими къ тому же высшему дворянству, къ которому принадлежала семья Пушкиныхъ. Воспитывался М. Ю. Лермонтовъ у бабушки Арсеньевой, въ обстановкѣ богатой барской семьи, долго жилъ въ деревнѣ, слѣдовательно среди условій крѣпостного быта. Воспитателями его по тогдашнему обычаю были гувернеры-иностранцы, но весьма разнообразные по своему прошлому. Наиболѣе любимымъ изъ нихъ былъ плѣнный офицеръ наполеоновской арміи Капе; по *смерти Капе*, нѣкоторое время гувернеромъ при немъ состоялъ

ученый еврей Леви, котораго смѣнилъ старый эмигрантъ французъ Жандрю, наконецъ, по удаленіи Жандрю, оказавшагося слишкомъ легкомысленнымъ, воспитателемъ Лермонтова былъ англичанинъ Виндсонъ. Вся эта компанія не прошла, конечно, безъ вліянія на юнаго питомца; выяснять эти вліянія подробно мы не можемъ, но укажемъ, что Капе оставилъ въ наслѣдство своему питомцу культъ Наполеона. Жандрю, по словамъ біографа Лермонтова Висковатова, Лермонтовъ обязанъ преждевременною житейскою опытностью и знакомствомъ съ эпизодами французской революціи, Леви можетъ быть познакомилъ своего ученика съ идеями Лессинговскаго Натана, отголоски которыхъ видны въ драмахъ Лермонтова, наконецъ, Виндсону Лермонтовъ обязанъ знакомствомъ съ англійскимъ языкомъ и поэзіей Байрона, которая имѣла на него такое сильное вліяніе. Такимъ образомъ, вліянія, подъ которыми прошло начало жизни Лермонтова, были нѣсколько иными, чѣмъ вліянія первыхъ лѣтъ Пушкина. Прежде всего на Лермонтова не оказывала повидимому никакого вліянія французская освободительная литература и въ частности Вольтеръ. Съ другой стороны, Лермонтову, повидиму, ранѣе чѣмъ Пушкину пришлось испытать вліяніе романтизма, и оно не ограничивалось только Байрономъ, но заключало въ себѣ и элементы нѣмецкаго идеалистическаго романтизма, отголоски котораго мы укажемъ потомъ въ произведеніяхъ Лермонтова. Это обстоятельство весьма важно для пониманія источниковъ различія между Пушкинымъ и Лермонтовымъ. Лермонтовъ въ этомъ отношеніи былъ ближе къ друзьямъ первой половины жизни Пушкина, чѣмъ самъ Пушкинъ, вольтерьянство котораго было нѣсколько запоздалымъ. У Лермонтова не было Пушкинскаго скептицизма, легкаго и поверхностнаго; демонъ Лермонтова выражалъ не насмѣшку вольтерьянца, а борьбу чувствъ романтика. Элементъ чувства игралъ въ душевномъ складѣ Лермонтова большую роль чѣмъ у Пушкина, въ міросозерцаніи котораго больше чисто разсудочнаго. Воспитаніе дѣлало Лермонтова болѣе романтикомъ, чѣмъ Пушкина.

Въ этомъ же направленіи долженъ былъ развиваться Лермонтовъ и въ московскомъ благородномъ пансіонѣ, куда онъ былъ опредѣленъ въ 1828 году. Московскій благородный пансіонъ всегда поддерживалъ связи съ Московскимъ уни-

верситетомъ и отражалъ въ себѣ то, что господствовало въ университетѣ, а мы уже знаемъ, что во второй половинѣ 20-хъ годовъ около Московскаго университета группировалась та академическая интеллигенція, которая охвачена была философскимъ романтизмомъ въ духѣ Шеллинга. Не лишне отмѣтить, что инспекторомъ и преподавателемъ этого пансіона во время пребыванія въ немъ Лермонтова былъ извѣстный проф. Павловъ, одинъ изъ наиболѣе рьяныхъ русскихъ приверженцевъ натурфилоссофіи Шеллинга, въ своихъ лекціяхъ и статьяхъ усердно популяризировавшій эту доктрину. Такимъ образомъ, поступая въ Московскій благородный пансіонъ, Лермонтовъ попалъ въ сферу вліянія такихъ идей, которыми жила тогдашняя академическая интеллигенція. Вліяніе ихъ казалось обезпеченнымъ, когда Лермонтовъ переходитъ изъ пансіона въ Московскій университетъ, центръ, вокругъ котораго группировалась тогда новая русская интеллигенція. Казалось бы, попавши въ эту струю духовной жизни, такой, жаждущій духовной жизни, юноша, какъ Лермонтовъ долженъ былъ быть захваченнымъ ею вполнѣ; дѣйствительность не оправдала, однако, такихъ ожиданій. Лермонтовъ не остался свободнымъ отъ вліянія университетской среды, но эти вліянія были для него неизмѣримо ниже того, что они были для его сверстниковъ, напр. для Бѣлинскаго. Съ одной стороны, это можетъ быть объяснено тѣмъ, что Лермонтову пришлось быть въ университетѣ сравнительно недолго и при томъ въ глухое время, когда еще не выступили на сцену тѣ изъ профессоровъ, которые внесли въ него жизнь, съ другой стороны, для сверстниковъ Лермонтова много дала товарищеская среда, съ которою Лермонтовъ, отчасти благодаря странностямъ своего характера, отчасти благодаря аристократизму, не могъ сблизиться. Аристократизмъ Лермонтова, какъ и аристократизмъ Пушкина, былъ гранью, мѣшавшею сближенію ихъ съ тою безсословною интеллигенціей, которая тогда выступала уже на сцену русской жизни. Типичнымъ представителемъ этой новой интеллигенціи былъ сверстникъ Лермонтова и его товарищъ по Московскому университету— Бѣлинскій. Эти два замѣчательныхъ человѣка, учась въ одно время въ немноголюдномъ тогда Московскомъ университетѣ, даже не были знакомы. Жизнь одного изъ нихъ проходила

въ скромной студенческой кельѣ, жизнь другого—въ барскихъ гостиныхъ, но, тѣмъ не менѣе, въ настроеніяхъ, переживаемыхъ тѣмъ и другимъ въ Московскомъ университетѣ есть весьма любопытныя совпаденія, которые отразились въ юношескихъ драмахъ Бѣлинскаго и Лермонтова. Юношеская драма Бѣлинскаго „Дмитрій Калининъ" имѣетъ много общаго съ юношескими драмами Лермонтова *).

Съ выходомъ Лермонтова изъ университета порвались его связи съ новою интеллигенціей, и онъ всецѣло оказывается человѣкомъ свѣтскаго общества. Это было то самое общество, въ которомъ задыхался Пушкинъ, — общество, опустошенное ураганомъ 14-го декабря, общество, отличительною чертой котораго были пустота, пошлость и пренебреженіе ко всякой духовной жизни. Лермонтову пришлось имѣть дѣло далеко не съ лучшими элементами и этой среды. Въ школѣ гвардейскихъ подпрапорщиковъ, потомъ въ гусарскомъ полку—онъ имѣлъ дѣло съ гвардейцами новаго пошиба, которые, какъ небо отъ земли, отличались отъ прежнихъ. Всякая умственная жизнь была среди нихъ признана вредною, ведущею къ тѣмъ послѣдствіямъ, какія постигли людей прежняго поколѣнія; здѣсь ни о чемъ не думали, ни о чемъ не заботились, кромѣ кутежей и волокитства. Грубый, хотя и позолоченный цинизмъ сдѣлался характерною чертой той самой среды, которая могла еще недавно гордиться такими людьми какъ Чаадаевъ. Свѣтское общество не могло дать Лермонтову даже того, что давало Пушкину во второй половинѣ его жизни. Среди свѣтскихъ людей, окружавшихъ Лермонтова, не было такихъ людей, какъ князь Вяземскій, Жуковскій, Дельвигъ, однимъ словомъ, людей, живущихъ хотя, быть можетъ, узкими, но все же духовными интересами. Это была полная пустыня, царство духовнаго сна, прерываемаго только циничными выходками,—гусаръ новаго типа. Такая среда была могилою для всякой живой души; такою она оказалась и для Лермонтова, но въ ней было нѣчто такое, что должно было казаться Лермонтову привлекательнымъ. Онъ рано былъ знакомъ съ жизнью. Воспитаніе въ деревнѣ, въ роли маленькаго деспота, среди крѣпостныхъ женщинъ, вліяніе такого

*) См. нашу замѣтку въ „Литературномъ Вѣстникѣ", 1903, № 4.

сомнительнаго педагога, какъ Жандро, общая нравственная распущенность среды, находившая себѣ роскошную почву въ крѣпостномъ правѣ,—все это не позволяло Лермонтову даже въ студенческіе годы быть такимъ пуританиномъ, какимъ былъ Бѣлинскій. Сцены студенческой жизни въ юношеской драмѣ Лермонтова не лишены чисто гусарскаго цинизма, безконечно далекаго отъ тѣхъ настроеній, какія царили въ кружкахъ Бѣлинскаго, Станкевича, Аксаковыхъ и др. Барченокъ крѣпостной эпохи былъ слишкомъ силенъ въ Лермонтовѣ, даже въ наиболѣе чистые періоды его жизни. Этою стороной Лермонтовъ сошелся съ современною ему свѣтскою молодежью и наполнялъ свою жизнь въ пустомъ безсодержательномъ обществѣ разгуломъ и волокитствомъ. Это, конечно, не могло не отразиться на его духовномъ мірѣ, и идейное развитіе Лермонтова, съ оставленіемъ имъ университета, не только не идетъ впередъ, но даже регрессируетъ; но совсѣмъ заглушить проснувшейся въ Лермонтовѣ духовной жизни не могла и эта пошлая обстановка жизни. Такимъ образомъ создавалось буквально трагическое положеніе: глубоко сосредоточенная натура, поэтъ-идеалистъ въ душѣ, уже знакомый съ горячими протестами мыслящей личности противъ общественнаго зла, самъ уже отразившій эти протесты въ своихъ произведеніяхъ, этотъ геніальный, можетъ быть, и во всякомъ случаѣ очень глубокій человѣкъ въ жизни своей оказывается фатомъ и хлыщемъ, не лишеннымъ цинизма. Только русская жизнь съ ея безконечными противорѣчіями могла создать такое уродливое и вмѣстѣ съ тѣмъ трагическое положеніе. Лермонтовъ былъ зараженъ гніеніемъ умиравшаго въ духовномъ отношеніи, разлагавшагося класса, но самъ онъ былъ натурой могучею, полною силъ, и борьба этой натуры съ неизбѣжною въ разлагающемся классѣ гибелью является одной изъ любопытнѣйшихъ, но и самыхъ тяжелыхъ въ нашей общественной жизни драмъ. Лермонтовъ принесъ въ жизнь много идеализма. Идеализмъ этотъ онъ почерпнулъ главнымъ образомъ въ западно-европейскомъ романтизмѣ, который онъ воспринялъ полнѣе, чѣмъ кто бы то ни было изъ его предшественниковъ; не прошло для него безслѣдно и вліяніе *Пушкина*, и того подъема общественнаго настроенія, который *переживала* Россія въ дѣтскіе годы Лермонтова, но отго-

лоски котораго онъ могъ, при своемъ необычайно раннемъ развитіи, захватить въ Москвѣ; этотъ идеализмъ и позволилъ его поэзіи остаться глубокою и содержательною, какъ бы пошло ни проходила по временамъ его жизнь; но жизнь очень рано стала разрушать этотъ идеализмъ. Отсюда та ранняя надломленность, разочарованность, которая такъ характерна для Лермонтова. Въ поэзіи Лермонтова идеалистическіе ноты звучатъ вначалѣ въ большомъ количествѣ. Первые попытки его лирики часто навѣяны нѣмецкою идеалистическою поэзіей; въ поэзіи Лермонтова въ первые годы видно довольно сильное вліяніе Шиллера, въ душѣ его рано проснулось стремленіе къ идеалу, который, однако, оставался для поэта до конца неяснымъ. Это было стремленіе къ чему-то таинственному, неземному и прекрасному. Лермонтовъ такъ говоритъ самъ объ этомъ стремленіи:

„Моя душа, я помню, съ дѣтскихъ лѣтъ
Чудеснаго искала. Я любилъ
Всѣ обольщенья свѣта, но не свѣтъ,
Въ которомъ я минутами лишь жилъ...“

Полнѣе и рельефнѣе это настроеніе исканія чудеснаго, но родного выражено въ извѣстномъ стихотвореніи „Ангелъ“. Душа Лермонтова была именно тою душой, въ которой вся пошлость жизни не могла заглушить воспоминанія о пѣсни, слышанной когда-то давно, пѣсни, говорившей о Богѣ великомъ, о блаженствѣ безгрѣшныхъ духовъ, т. е. о великомъ и чистомъ идеалѣ, который рано зароненъ былъ въ воспріимчивую душу нашего поэта. Онъ, дѣйствительно, слышалъ эту пѣсню, не отъ ангела, конечно, а отъ поэтовъ идеалистовъ, и звукъ этой пѣсни остался въ душѣ молодой „безъ словъ, но живой“; онъ по временамъ слышится и въ его пѣсняхъ, онъ звучитъ и въ дивномъ переводѣ гейневской „Сосны“ и въ таинственномъ стихотворіи „Есть рѣчи“ и въ „Валерикѣ“. Этотъ идеализмъ, по нашему убѣжденію, лучшая часть души Лермонтова, та, за которую мы всѣ любимъ этого поэта,—особенно любимъ въ юности, когда въ нашей душѣ тоже много свѣжести и идеализма. По воспріимчивости къ этому идеализму, мы можемъ судить, какъ высока была натура Лермонтова, чего мы могли бы ждать

отъ этой высокой души въ иныхъ, менѣе уродливыхъ условіяхъ развитія. Но жизнь, убійственная по своей пошлости русская жизнь, слишкомъ рано дала себя чувствовать Лермонтову. Въ 1829 году, 15-ти лѣтнимъ мальчикомъ, Лермонтовъ пишетъ свою „Жалобу Турка", полную чувства горечи возбуждаемаго этою жизнью.

Я позволю себѣ напомнить это довольно мало извѣстное стихотвореніе Лермонтова.

„Ты зналъ-ли дикій край, подъ знойными лучами,
Гдѣ рощи и луга поблекшіе цвѣтутъ,
Гдѣ хитрость и безпечность злобѣ дань несутъ,
Гдѣ сердце жителей волнуемо страстями,
И гдѣ являются порой
Умы и хладные и твердые, какъ камень.
*Но мощь ихъ давится безвременной тоской,*
*И рано гаснетъ въ нихъ добра спокойный пламень.*
*Тамъ рано жизнь тяжка бываетъ для людей,*
Тамъ за успѣхами несется укоризна,
*Тамъ стонетъ человѣкъ отъ рабства и цепей!*
Другъ! этотъ край — моя отчизна!"

Надо удивляться, какъ рано поэтъ почувствовалъ тоску отъ безвременья, царившаго въ родной ему „Турціи", какъ рано жизнь стала для него тяжка. Но если въ 15 лѣтъ онъ испытывалъ съ такою силой и такимъ пониманіемъ гнетъ безвременья, можно-ли удивляться, что жизнь осталась для него тяжка и послѣ, что онъ до конца своихъ дней испытывалъ тоску, отъ которой спасался всѣми немногими доступными ему способами; изъ нихъ дуэль оказалась самымъ дѣйствительнымъ. Положеніе Лермонтова было болѣе тяжелымъ, чѣмъ положеніе Пушкина. Лермонтовъ проснулся раньше къ серьезной жизни, идеалистическая закваска заставляла его предъявлять къ жизни и людямъ большія требованія, чѣмъ насмѣшливый скептицизмъ Пушкина, наконецъ, Пушкинъ зналъ лучшіе дни, дни надеждъ, когда его вдохновлялъ кругъ друзей; Лермонтовъ же не зналъ ничего подобнаго. Лермонтовъ рано сталъ одинокъ. Необыкновенно раннее развитіе лишило его возможности быть понимаемымъ сверстниками и способствовало выработкѣ той замкнутости въ себѣ, которая впослѣдствіи была однимъ изъ препятствій къ

сближенію его съ тѣми, съ кѣмъ сближеніе могло бы многое дать ему, а жизнь не давала ему ничего, кромѣ тоски. Жажда жизни искала выхода и могла находить его только въ забавахъ невысокаго полета, какимъ предавалась тогда свѣтская молодежь, да въ любовныхъ увлеченіяхъ. Послѣднія играютъ въ жизни Лермонтова не меньшую, но нѣсколько иную роль, чѣмъ въ жизни Пушкина. Пушкинъ, несмотря на искренность и глубину чувства могъ довольно легко переходить отъ одного увлеченія къ другому; Лермонтовъ, наоборотъ, всю жизнь повидимому, несмотря на многочисленные романы, былъ вѣренъ одному чувству, чувству неудачному, приносившему поэту одни только страданія.

Жизнь Лермонтова была въ полномъ смыслѣ слова разбитою жизнью, которую онъ могъ только прожигать и ставить на карту при всякомъ удобномъ случаѣ, что онъ и дѣлалъ до самой своей трагической кончины. Ранняя разочарованность въ жизни, сильное развитіе индивидуализма и стремленіе къ смутному идеалу—вотъ характерныя черты Лермонтова уже со временъ его студенчества. Онѣ не покидаютъ его и въ послѣдующей жизни, сохраняясь подъ разными наслоеніями казарменной обстановки школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ. Эти черты способствовали воспріятію Лермонтовымъ поэзіи Байрона, которая съ ея культомъ одинокой личности, съ разочарованностью болѣе соотвѣтствовала настроеніямъ Лермонтова, чѣмъ нѣмецкій идеализмъ, сильно вліявшій на него въ болѣе раннюю эпоху.

Вліяніе Байрона на Лермонтова было гораздо болѣе сильнымъ и постояннымъ, чѣмъ его вліяніе на Пушкина. Байронизмъ овладѣлъ Лермонтовымъ и если не вполнѣ подавилъ отголоски прежняго идеализма, то заслонилъ ихъ. Байронизмъ русскихъ поэтовъ подвергался много разъ осужденію со стороны нашихъ критиковъ разныхъ направленій. Я менѣе всего склоненъ раздѣлять это осужденіе. Байронизмъ, каковы бы ни были его отрицательныя стороны, одно изъ могущественнѣйшихъ средствъ образованія независимой личности, а въ такомъ обществѣ, какъ русское, гдѣ личность вѣками была совершенно подавлена, это образованіе личности одинъ изъ насущнѣйшихъ вопросовъ жизни; но въ жизни Лермонтова байронизмъ игралъ между прочимъ и отрицательную роль.

Байронизмъ поддерживалъ въ Лермонтовѣ его аристократизмъ, его презрительное отношеніе къ людямъ и къ людской морали. Байронизму обязанъ Лермонтовъ кристаллизаціей въ его характерѣ многихъ отрицательныхъ сторонъ, которыя могли бы изгладиться; аристократизмъ Байрона привязывалъ Лермонтова къ тому слою общества, съ которымъ онъ и такъ къ несчастью слишкомъ былъ связанъ, онъ же и прямо и косвенно способствовалъ отчужденности Лермонтова въ студенческіе годы отъ лучшихъ кружковъ молодежи. Байронизмъ Лермонтова былъ, кромѣ того, явленіемъ гораздо болѣе индивидуальнымъ, чѣмъ байронизмъ Пушкина, (что, можетъ быть, обусловливало и его большую полноту, такъ какъ байронизмъ самъ по себѣ явленіе индивидуалистическое). Пушкинъ воспринималъ байронизмъ изъ среды, Лермонтовъ же искалъ въ байронизмѣ опору въ своемъ одиночествѣ. Своимъ байронизмомъ, своею протестующею, тоскующею поэзіей Лермонтовъ скорѣй заканчивалъ неполное выраженіе Пушкинымъ поколѣнія первой половины 20-хъ годовъ, чѣмъ выражалъ свое поколѣніе. Со своимъ поколѣніемъ у него было мало общаго. Своимъ развитіемъ, пробужденіемъ своей личности Лермонтовъ былъ обязанъ тѣмъ культурнымъ силамъ, которыя въ его классѣ общества перестали уже дѣйствовать, когда онъ вступилъ въ жизнь; поэтому онъ не могъ, подобно Пушкину, быть выразителемъ своего общественнаго класса. Онъ могъ только какъ бы подвести итоги прошедшему и выразить въ своей поэзіи крушеніе идеаловъ.

Въ лицѣ Лермонтова гордо умирала аристократическая культура Руси конца 18-го, начала 19-го вѣка, обреченная на гибель катастрофой 14-го декабря; Пушкинъ, бывшій отголоскомъ наивысшаго расцвѣта этой культуры, не могъ по складу своей натуры съ достаточной полнотой выразить ея смерть, эта роль досталась Лермонтову и въ этомъ отношеніи Лермонтовъ является преемникомъ Пушкина. Дѣятельность Лермонтова какъ будто продолженіе дѣятельности Пушкина въ первую эпоху его жизни.

Лермонтовъ какъ будто начинаетъ съ того, на чемъ остановился Пушкинъ въ 1826 году, вступивъ на путь примиренія съ жизнью и идеализаціи силы, олицетворяемой въ *Петрѣ*, *Лермонтовъ* сохраняетъ строгимъ духъ прежняго

Пушкина, но соединяетъ его съ вытекающею изъ положенія безнадежностью. Такъ должны были бы чувствовать оставшіеся вѣрными себѣ люди прошлаго, но такихъ людей почти не было, и Лермонтовъ остался одинокъ.

Лермонтовъ является, такимъ образомъ, характернымъ „лишнимъ человѣкомъ", пришедшимъ слишкомъ поздно для одного и слишкомъ рано для другого.

Жизнь такого человѣка должна была быть мукою, и не мудрено, что онъ ею не дорожилъ. Вы знаете эту жизнь. Вы помните его первую ссылку на Кавказъ, за стихотвореніе, въ которомъ вылилось и его собственное страданіе въ свѣтскомъ обществѣ и негодованіе на преступленіе, совершенное было этимъ обществомъ по отношенію къ геніальному предшественнику Лермонтова, единственному близкому ему по духу человѣку; вы помните его дуэль съ Барантомъ и вторую ссылку и, наконецъ, трагическую гибель.

Много думъ, много недопѣтыхъ пѣсенъ, много дивныхъ образовъ унесла эта гибель, но она не была случайною. Поэтъ искалъ ее, искалъ какъ избавленія отъ слишкомъ тяжелаго бремени жизни. Лермонтову дѣйствительно, какъ говоритъ онъ въ одномъ изъ прелестнѣйшихъ своихъ стихотвореній, нечего было ждать отъ жизни, онъ могъ только „забыться и заснуть".

И этого забвенія искалъ онъ и въ отчаянныхъ стычкахъ съ черкесами и въ бретерскихъ ссорахъ. Если бы не пуля Мартынова, то другая бы пуля прервала его многострадальные дни. И въ сущности истиннымъ убійцею Лермонтова былъ не этотъ выведенный имъ же изъ себя „горецъ съ большимъ кинжаломъ", какъ шутя называлъ Лермонтовъ Мартынова, а та безпросвѣтная русская дѣйствительность, гдѣ

„Являются порой
Умы и хладные и твердые, какъ камень.
Но мощь ихъ давится безвременной тоской,
И рано гаснетъ въ нихъ добра спокойный пламень".

## VI.

Характеризуя Лермонтова, какъ художника, мы должны прежде всего остановиться на его лирикѣ. Лирику Лермонтова мы считаемъ высшимъ моментомъ въ развитіи русской лирики. Ни у кого изъ русскихъ поэтовъ, не исключая самого Пушкина, нѣтъ такой силы чувства, захватывающей полноты и глубины настроенія, какъ у Лермонтова, ни у кого изъ русскихъ лириковъ нѣтъ и того богатства содержанія, какимъ блещетъ лирика Лермонтова. Лирика Лермонтова—это цѣлое міросозерцаніе, чего нельзя сказать о лирикѣ Пушкина. Недавно была сдѣлана попытка найти міросозерцаніе въ лирикѣ Фета; но, не говоря о художественномъ ничтожествѣ Фета сравнительно съ Пушкинымъ и Лермонтовымъ, какими жалкими кажутся эти потуги претендующей на философское значеніе вычурной мысли Фета наряду съ глубокою, охватывающею міръ думой Лермонтова. Мы вполнѣ увѣрены, что въ Лермонтовѣ русская литература потеряла не только величайшаго изъ своихъ лириковъ, но и единственнаго поэта-философа. Мы думаемъ, что изъ русскихъ лириковъ только Лермонтовъ можетъ сказать многое не одному русскому, но и привыкшему къ болѣе сложнымъ житейскимъ интересамъ западному человѣку, только Лермонтовъ можетъ имѣть міровое значеніе; мы увѣрены, что и современный культурный русскій человѣкъ, живущій возможно полною для него духовною жизнью, если онъ способенъ отрѣшиться отъ обаянія имени, согласится, что лирика Лермонтова даетъ ему больше, чѣмъ лирика Пушкина. У Пушкина гораздо больше непосредственности, жизнерадостности, у Лермонтова вдумчивости, работы мысли и чувства. Эта разница распространяется даже на тѣ области, гдѣ Пушкинъ былъ въ гораздо болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ Лермонтовъ. Однимъ изъ лучшихъ стихотвореній общественнаго характера является у Пушкина „Деревня". Взятое само по себѣ это стихотвореніе кажется искреннимъ и поэтичнымъ, но стоитъ сопоставить съ нимъ проникнутый *аналогичнымъ* настроеніемъ „Жалобу Турка", написанную

15-ти-лѣтнимъ Лермонтовымъ, чтобы въ стихотвореніи Пушкина замѣтить и риторичность, и разсудочность, и растянутость. А, между тѣмъ, Пушкинъ жилъ въ такой общественной атмосферѣ, какой Лермонтову не пришлось даже видѣть. Та же глубина и сила чувства сказывается и во всей лирикѣ Лермонтова. Но когда намъ приходится говорить о лирикѣ Лермонтова, мы не можемъ не вспомнить отзывъ Бѣлинскаго, что стихи Лермонтова можно хвалить только стихами и притомъ такими же. Мы не будемъ хвалить ихъ. Мы попробуемъ только раскрыть ихъ содержаніе. Въ лирикѣ Лермонтова много мѣста занимаетъ чувство любви къ женщинѣ, но чувство это иное, чѣмъ въ лирикѣ Пушкина. Женщина у Пушкина прекрасный призракъ счастья, у Лермонтова—она идеалъ, она частичное воплощеніе того святого вѣчнаго нѣчто, къ которому всегда стремилась душа поэта. Отсюда разница въ отношеніи поэтовъ къ своему чувству и въ самомъ характерѣ его. Чувство Пушкина могло мѣнять объекты; чувство Лермонтова—нѣтъ.

„Разстались мы; но твой портретъ
Я на груди моей храню:
Какъ блѣдный призракъ лучшихъ лѣтъ
Онъ душу радуетъ мою,
И новымъ преданный страстямъ,
Я разлюбить его не могъ;
Такъ храмъ оставленный—все храмъ,
Кумиръ поверженный—все Богъ!"

Съ такими словами обращается поэтъ къ любимой женщинѣ, и слова эти вполнѣ правдивы: онъ любилъ даже тогда, когда старался себя увѣрить въ противномъ. Такое настроеніе проглядываетъ во вступительныхъ строфахъ „Валерика". Любовь мимолетная не имѣетъ цѣны въ глазахъ Лермонтова, онъ считаетъ достойной человѣка только вѣчную:

„Любить, но кого же? на время не стоитъ труда,
А вѣчно любить невозможно".

Но для Лермонтова оказалось возможнымъ любить, если не вѣчно, то по крайней мѣрѣ всю недолгую жизнь.

Были, конечно, отливы чувства, (къ времени отлива принадлежитъ и то стихотвореніе, изъ котораго мы взяли только-что приведенныя строки), но совсѣмъ чувство не умирало. Это постоянство и глубина чувства и могли создать ту невыразимо-поэтичную нѣжность, какая сказывается въ стихотвореніи Лермонтова „Молитва" („Я, Матерь Божія"). „Кто-бъ ни была эта дѣва, говоритъ Бѣлинскій,—возлюбленная ли сердца, или милая сестра—не въ томъ дѣло; но сколько кроткой задушевности въ тонѣ этого стихотворенія, сколько нѣжности безъ всякой приторности; такое благоуханное, теплое, женственное чувство! Все это трогаетъ въ голубиной натурѣ человѣка: но въ духѣ могучемъ и гордомъ, въ натурѣ львиной—все это болѣе чѣмъ умилительно". Мы можемъ прибавить къ этимъ словамъ великаго критика, что другого образчика такой истинной нѣжности чувства мы не можемъ найти въ русской лирикѣ. Такое чувство возможно только при идеалистическомъ складѣ души, когда женщина сознательно или безсознательно является въ глазахъ человѣка однимъ изъ воплощеній высшаго нѣчто, тѣмъ вѣчно-женственнымъ, какимъ она является у Шиллера.

При могучемъ анализѣ мысли, отличающемъ Лермонтова отъ заурядныхъ идеалистовъ, Лермонтовъ не могъ не чувствовать, что въ женщинѣ онъ любитъ прежде всего свой идеалъ. Это сознаніе довольно рельефно выражено въ одномъ изъ стихотвореній, относящихся къ наиболѣе зрѣлому періоду творчества Лермонтова (1841 г.):

„Нѣтъ, не тебя такъ пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье—
Люблю въ тебѣ я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда, порой, я на тебя смотрю,
Въ твои глаза вникая долгимъ взоромъ
Таинственнымъ я занятъ разговоромъ,
Но не съ тобой я сердцемъ говорю—
Я говорю съ подругой юныхъ дней,
Въ твоихъ чертахъ ищу черты другія,
Въ устахъ живыхъ—уста давно нѣмыя,
Въ глазахъ—огонь угаснувшихъ очей".

Здѣсь анализъ уже началъ отдѣлять идеалъ отъ воплощенія, поэтъ уже чувствуетъ, что они не тождественны, и

обращается къ тому времени, когда они сливались. Если женщина въ душѣ Лермонтова была прежде всего воплощеніемъ высшаго начала (этотъ взглядъ рельефнѣе выраженъ въ поэмахъ, напр., въ „Демонѣ", гдѣ любовь женщины должна возвращать Демона къ добру), то она не могла занимать того мѣста въ лирикѣ, какъ у Пушкина. Мѣсто, занимаемое чувствомъ къ женщинѣ въ лирикѣ Пушкина и Лермонтова, сходно, но не тождественно. Для Пушкина женщина призракъ счастья и безъ нея нѣтъ счастья, для Лермонтова женщина воплощеніе идеала, но не единственное. Поэтому, несмотря на многочисленность и поэтичность стихотвореній посвященныхъ чувству къ женщинѣ, у Лермонтова это чувство не является въ лирикѣ такимъ доминирующимъ, какъ у Пушкина. Въ душевной жизни Лермонтова очень важную роль играетъ отношеніе человѣческой личности къ мірозданію. Высшее счастье для него въ общеніи человѣка съ высшей, зиждущей міръ и сливающейся съ мірами силой. Въ поэтическомъ міровоззрѣніи Лермонтова довольно опредѣленно сказывается пантеизмъ (черта, роднящая его съ романтиками 30-хъ годовъ). Это пантеистическое міросозерцаніе высказывается у Лермонтова хотя бы въ извѣстномъ всѣмъ стихотвореніи „Когда волнуется желтѣющая нива". Поэтъ лицомъ къ лицу съ природою „въ небесахъ видитъ Бога" и можетъ постигнуть счастье на землѣ. Это въ поэтической формѣ то же наслажденіе чувствомъ своего единства съ Космосомъ, которое было знакомо русскимъ гегеліанцамъ 30-хъ годовъ. Пантеизмъ Лермонтова былъ, конечно, не пантеизмъ разсудочный, а пантеизмъ чувства. Это любопытный примѣръ, какъ философское положеніе, претворяясь въ чувство, становится чистою поэзіей. Это признаніе общенія съ міромъ высшимъ, быть можетъ единственнымъ доступнымъ для человѣка счастьемъ, звучитъ у Лермонтова и въ одномъ изъ послѣднихъ его стихотвореній („Выхожу одинъ я на дорогу"). Заключительныя строфы этого стихотворенія рисуютъ идеалъ счастья усталой души въ нирванѣ, соединенной съ общеніемъ съ природой.

„Но не тѣмъ холоднымъ сномъ могилы—
Я-бъ желалъ на вѣки такъ заснуть,
Чтобъ въ груди дрожали жизни силы,

Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь;
Чтобъ всю ночь, весь день мой слухъ лелѣя,
Про любовь мнѣ сладкій голосъ пѣлъ,
Надо мной, чтобъ вѣчно зеленѣя,
Темный дубъ склонялся и шумѣлъ".

Этотъ „темный дубъ", своимъ шумомъ примиряющій страдальца съ жизнью, образъ очень характерный для Лермонтова. Онъ показываетъ, чѣмъ была для Лермонтова природа. Любопытно отмѣтить ту же примиряющую роль природы въ произведеніяхъ новѣйшаго писателя, имѣющаго довольно много общаго съ Лермонтовымъ,—мы говоримъ о М. Горькомъ.

Природа вообще занимаетъ въ поэзіи Лермонтова значительно больше мѣста, чѣмъ у Пушкина. Красота природы для него выше всего, и если у Пушкина мы видимъ, какъ черты природы рисуются образами, заимствованными изъ человѣческой красоты, то у Лермонтова мы постоянно встрѣчаемъ обратное. Для изображенія красоты человѣка Лермонтовъ пользуется красками природы.

Какъ ночи Украйны
Въ мерцаніи звѣздъ незакатныхъ—
Исполнены тайны
Слова ея устъ ароматныхъ.
Прозрачны и сини,
Какъ небо тѣхъ странъ, ея глазки,
Какъ вѣтеръ пустыни
И нѣжатъ и жгутъ ея ласки, и т. д.

Картинами природы Лермонтовъ пользуется очень часто для передачи чисто лирическаго настроенія. Въ этомъ отношеніи замѣчательно стихотвореніе „Утесъ", гдѣ изумительно сжато написанная картина раскрываетъ передъ нами въ то же время цѣлую драму человѣческой души. Я напомню это удивительное стихотвореніе.

„Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана,
Утромъ въ путь она пустилась рано
По лазури весело играя;

Но остался важный слѣдъ въ морщинѣ
Стараго утеса. Одиноко
Онъ стоитъ; задумался глубоко
И тихонько плачетъ онъ въ пустынѣ".

Здѣсь ничего, кромѣ картины природы, а между тѣмъ въ этомъ стихотвореніи слышится глубокая скорбь одинокой, измученной души, души могучей, какъ утесъ, не могущей забыть разъ пережитого. Это образчикъ истиннаго символизма въ поэзіи, символизма присущаго всякой настоящей поэзіи, но очень далеко отъ того вычурнаго, вырождающагося жанра, который преподносится подъ видомъ символизма въ новѣйшей поэзіи упадка. Въ такомъ же родѣ переведенная изъ Гейне, но проникнутая чисто Лермонтовскимъ настроеніемъ „Сосна". По пріему изображенія настроенія только картиной природы, примыкаетъ сюда стихотвореніе „Дубовый листокъ оторвался отъ вѣтки родимой". Часто Лермонтовъ пользуется такъ называемымъ психологическимъ параллелизмомъ, и картина природы, развиваясь рядомъ съ настроеніемъ человѣка, въ силу аналогіи или контраста дополняетъ эти настроенія („Тучки", „Выхожу одинъ я на дорогу").

Мы видимъ, чѣмъ была для Лермонтова природа: предъ нею „смиряется души его тревога", въ ея явленіяхъ онъ находитъ тѣ же скорби, которыя живутъ въ его душѣ, а когда въ природѣ все „торжественно и чудно", онъ какъ бы удивляется, отчего это ему такъ больно и такъ трудно, наконецъ стремясь „забыться и заснуть", онъ все-таки хочетъ, чтобы надъ нимъ „темный дубъ склонялся и шумѣлъ". Природа — какъ бы единственный другъ его, какъ бы единственное нѣчто, что подъ пару его титанической одинокой личности. Онъ съ природой какъ бы составляетъ нѣчто цѣлое, какъ бы составляетъ сознающую себя часть ея. Таково же его отношеніе къ Божеству. У Лермонтова нерѣдки молитвенныя настроенія; стихотворенія его, проникнутыя этими настроеніями, безспорно лучшія изъ русскихъ стихотвореній этого рода. Но отношеніе Лермонтова къ божеству—это отношеніе сознающей себя частицы мірозданія къ цѣлому. Въ обращеніи его къ божеству звучитъ иногда даже сарказмъ, но это не сарказмъ атеиста. Лермонтовъ пантеистъ

можетъ быть денетъ (точно опредѣлить міросозерцанія человѣка, когда главнымъ матеріаломъ является лирическая поэзія настроенія, трудно). Каково бы ни было его представленіе о божествѣ, оно не подавляетъ его личности, божеству онъ противопоставляетъ личность человѣка, какъ нѣчто хоть и не равноправное, но имѣющее *свои* права. Таково стихотвореніе „Благодарность" („За все, за все Тебя благодарю я"). Личность Лермонтова въ его лирикѣ является могучею, титаническою, страдающею, но несокрушимою личностью. Преобладающимъ настроеніемъ у Лермонтова является грусть; страданіе ни у кого изъ русскихъ лириковъ страданіе не выражено съ такою глубиной, но, какъ у Пушкина, у Лермонтова оно никогда не подавляетъ, не побѣждаетъ поэта. Эта страдающая могучая личность представляетъ собою величественную и глубоко трагическую картину. Страданіе въ мірѣ лжи и пошлости и стремленіе къ идеалу, къ общенію, къ высшимъ началамъ добра и красоты — вотъ содержаніе лирики Лермонтова, и она всегда будетъ близка страдающимъ и стремящимся къ идеалу. Если Пушкина мы назвали грекомъ, то Лермонтовъ современный европейскій человѣкъ, съ его сложными проблемами жизни, его неудовлетворительностью и тоской. Для поклонника чистой красоты Пушкинъ съ его преобладаніемъ формы надъ содержаніемъ, съ его свѣжестью радостности настроеній можетъ быть дороже Лермонтова, но для того, кто ищетъ въ поэзіи отвѣта на то, „что проситъ у сердца отвѣта", ищетъ такъ сказать, „катарсиса" своихъ душевныхъ проблемъ—Лермонтовъ дастъ больше, чѣмъ Пушкинъ, онъ ближе къ намъ, современнѣе и долго еще останется такимъ.

Съ лирикой Лермонтова тѣсно связаны его поэмы, среди которыхъ первое мѣстоз анимаетъ „Демонъ". Въ поэмахъ Лермонтовъ является, какъ и во всей поэзіи, въ цѣломъ, продолжателемъ Пушкина, но Пушкина первой половины его дѣятельности, Пушкина, остановившагося на Алеко и замыслѣ Онѣгина. Если то развитіе личности, которое было отражено Пушкинымъ въ Алеко и замыслѣ Онѣгина пріостановилось въ обществѣ, то оно продолжалось въ разныхъ направленіяхъ отдѣльными разрозненными линами. Чаадаевъ, *Лермонтовъ*, Герценъ, Бѣлинскій, всѣ эти люди по одиночкѣ

или небольшими группами продолжали задержанную общественную эволюцію. Какъ ни неблагопріятны были условія, развитіе личности замедлилось, но не пріостановилось.

Вотъ эта развивающаяся личность, ея разладъ, ея драма и составляетъ основу поэмъ Лермонтова, въ которыхъ онъ идетъ, какъ и Пушкинъ въ своихъ поэмахъ, написанныхъ на югѣ, по слѣдамъ Байрона. Таковъ и Лермонтовскій „Демонъ". Въ этой поэмѣ нѣтъ ничего мистическаго. Замыселъ „Демона" объясняютъ вліяніемъ поэмы Альферда де-Виньи—Eloa. Байроническую окраску поэма принимаетъ только впослѣдствіи, въ позднѣйшихъ переработкахъ (Лермонтовъ работалъ надъ Демономъ всю жизнь). Но, несмотря на разнообразныя литературныя вліянія и на фантастичность сюжета, въ концѣ концовъ, въ „Демонѣ" слишкомъ много человѣческаго, реальнаго. Демонъ Лермонтова—это страдающая въ своемъ одиночествѣ, могучая личность. Онъ въ сущности совсѣмъ не золъ, онъ только глубоко несчастливъ.

Авторъ говоритъ про Демона, что онъ сѣялъ зло безъ наслажденья, но мы не видимъ этого зла. Его нѣтъ въ поэмѣ. Напротивъ, Демонъ тоскуетъ по добру, стремится къ добру. Его тоска—тоска по тому времени,

„Когда онъ вѣрилъ и любилъ
Счастливый первенецъ творенья,
Не зналъ ни злобы, ни сомнѣнья..."

Онъ вспоминаетъ объ этомъ времени, времени, когда онъ „блисталъ какъ чистый херувимъ"; онъ не можетъ забыть этого прошлаго и скучаетъ, томится настоящимъ. Это та же „младая душа", которую несъ Лермонтовскій Ангелъ „для міра печали и слезъ" и которой скучны были пѣсни земли и не могли онѣ замѣнить пѣсни Ангела. И какъ только Демонъ увидѣлъ Тамару, онъ съ новою силой вспомнилъ все то, о чемъ тосковала чего искала его душа:

„И вновь постигнулъ онъ святыню
Любви, добра и красоты...
И долго сладостной картиной
Онъ любовался—и мечты
О прежнемъ счастьи цѣпью длинной,

Какъ будто за звѣздой звѣзда,
Передъ нимъ катилися тогда,
Прикованный незримой силой
Онъ съ новой грустью сталъ знакомъ,
Въ немъ чувство вдругъ заговорило
Роднымъ когда-то языкомъ".

Очевидно, въ Демонѣ слишкомъ много осталось прежняго, не зло—а добро его стихія. Паденіе его лишь кажущееся. Онъ несчастливъ и потому озлобленъ, но не золъ. Въ немъ есть одна черта, которая, при извѣстномъ взглядѣ на добро можетъ быть признана зломъ:—онъ гордъ и свободолюбивъ. Но его гордость та же гордость, какую мы видѣли въ „Благодарности" Лермонтова. Онъ не можетъ ни передъ кѣмъ склониться настолько, чтобы отрѣшиться отъ свободы своей личности, отъ ея правъ, отъ ея познанья. Онъ не можетъ преклониться передъ авторитетомъ и подчиниться чужой волѣ. Познанье, свободу и счастье онъ считаетъ своимъ правомъ и не можетъ отъ него отказаться. Не можетъ хотя, повидимому, искренно хочетъ:

„Хочу я съ небомъ примириться,
Хочу любить, хочу молиться,
Хочу я вѣровать добру". и т. д.

Онъ не лжетъ, онъ хочетъ примириться съ небомъ, но съ небомъ традиціоннымъ, какимъ является оно въ поэмѣ, съ небомъ требующимъ только покорности, съ небомъ безжалостнымъ, вырывающимъ у него его послѣднюю святыню, его послѣднюю любовь, онъ примириться не можетъ. То, въ чемъ онъ искалъ возрожденья, даетъ лишь новыя разочарованія.

„И вновь остался онъ надменный
Одинъ, какъ прежде, во вселенной
Безъ упованья и любви!"

Другое небо, не то традиціонное, идеалъ котораго *создался въ аскетическихъ* кельяхъ среднихъ вѣковъ, пощадило *бы этого* Демона, этого страдальца, тоскующаго по

добру, ищущаго возрожденія. Демонъ не золъ. Въ немъ добра больше, чѣмъ въ Алеко, его тоска выше, чѣмъ тоска Алеко. Демонъ тоскуетъ по утраченномъ идеалѣ, ищетъ добра, Алеко скучаетъ и ищетъ наслажденья, но онъ сильнѣе Алеко, болѣе гордъ, чѣмъ послѣдній. Идеализмъ и большая мощность отличаетъ Демона отъ Алеко. Очевидно, развитіе личности у Лермонтова пошло значительно впередъ сравнительно съ Пушкинымъ.

У Пушкина личность, отказавшаяся отъ инертнаго состоянія, пробудившаяся къ самостоятельной жизни, чувствуетъ еще *только* разладъ свой съ обществомъ, исканіе еще только чуть-чуть начинается, у Лермонтова это исканіе пошло дальше, личность окрѣпла, вопросъ рѣшенъ въ пользу добра, но это добро оказывается слишкомъ трудно достижимымъ. Земля оказалась слишкомъ пуста для пробудившейся личности, а небо слишкомъ холодно къ ней. Увы! это было наше русское небо и наша русская земля!

Роднымъ братомъ Демона, хотя, можетъ быть младшимъ является Измаилъ-Бей. Измаилъ, какъ Демонъ, непреклонно гордъ, какъ Демонъ, онъ ищетъ добра. Онъ не нашелъ его въ свѣтскомъ обществѣ, отправился искать его въ родныя горы, но не нашелъ и тамъ и погибъ одинокимъ, отверженнымъ. Здѣсь, благодаря реальности сюжета, разладъ личности съ обществомъ отразился полнѣе, чѣмъ въ Демонѣ. Любопытно сравнить этотъ разладъ съ тѣмъ, какой мы видѣли у Алеко. Разница эта трудно уловима въ отношеніяхъ того и другого къ цивилизованному обществу, изъ котораго они оба ушли; но въ отношеніяхъ къ тому первобытному обществу, гдѣ они надѣялись найти то, чего не оказалось въ культурномъ, разница очень замѣтна въ пользу Измаила. Алеко не могъ ужиться среди цыганъ, потому-что не могъ подчинить себѣ порывовъ своей страсти, въ немъ личность, отказавшись отъ традиціоннаго подчиненія обществу, еще не опредѣлила себѣ предѣла дозволеннаго, и нравственныя преимущества оказываются на сторонѣ толпы, а не личности; наоборотъ, Измаилъ не могъ ужиться съ черкесами изъ-за невозможности примирить свои болѣе высокія понятія о чести съ ихъ понятіями, здѣсь нравственныя преимущества на сторонѣ личности, которая расходится съ толпой именно изъ-за господства принципа надъ чувствомъ. Измаилъ ненавидитъ рус-

скихъ и любитъ родину не меньше, чѣмъ его братъ, но принципъ, болѣе высокія понятія о чести не позволяютъ ему дѣйствовать, какъ хочетъ братъ. Сродни Демону и Измаилу — Мцыри. Въ Мцыри однако менѣе идеализма, его жизнь была слишкомъ скудна, чтобы позволить развиться идеализму.

Въ тюрьмѣ идеализмъ неразвивается. Но въ Мцыри нашла себѣ наиболѣе полное выраженіе другая, неменѣе характерная, чѣмъ идеализмъ, сторона личности—ея титанизмъ. Личность Мцыри колоссальна. Это неукротимый, нечеловѣческій порывъ. Строго говоря, Мцыри гораздо болѣе годился бы въ Демоны, чѣмъ Лермонтовскій Демонъ. Только буря и Кавказъ сродни Мцыри. Мцыри высшее развитіе личности въ нашей литературѣ, и весьма характерно, что эту личность Лермонтовъ помѣстилъ въ монастырѣ, бывшемъ для нея тюрьмою. Такою тюрьмой должна была являться для могучей, неукротимой личности современная Лермонтову русская дѣйствительность, и драма Мцыри есть драма реальная, драма могучей личности, въ нивелирующей обстановкѣ пошлой инертной среды. Гнетъ этой среды былъ страшенъ, онъ значительно превосходилъ гнетъ, испытываемый колоссальною же личностью Байрона и его героевъ, превосходилъ, потому что ничего не можетъ быть сильнѣе гнета слѣпой инертной массы, не понимающей даже, что она гнететъ. Драма Мцыри, какъ и драма Демона и Измаилъ-Бея, помимо преходящаго значенія, имѣетъ и вѣчное, общечеловѣческое. Этотъ порывъ могучей личности, ея жажда жизни, подавляемая условіями среды, это такъ или иначе повторяется всегда и вездѣ. Но для русской жизни эта драма имѣетъ особенное, притомъ все растущее значеніе. Она какъ будто затихала на время подъ вліяніемъ философскаго примиренія съ жизнью и потомъ нѣкоторыхъ успѣховъ въ самой жизни, но давно уже эта драма снова стоитъ передъ нами, все усиливаясь и усиливаясь и въ интенсивности и въ масштабѣ. И хотя интенсивность ея при этомъ второмъ приливѣ ея не достигла высоты интенсивности Мцыри (ея общественный масштабъ безконечно шире теперь), но есть много основанія думать, что близко время, когда эта драма томящейся сильной личности *достигнетъ* въ нашемъ обществѣ знакомой Лермонтову *интенсивности*.

Признаки этого мы видимъ въ тѣхъ настроеніяхъ, которыя выражены Горькимъ, отчасти въ увлеченіяхъ ницшеанствомъ. Поэмы Лермонтова были послѣдними поэмами въ русской литературѣ: этотъ видъ умеръ вмѣстѣ съ тѣмъ общественнымъ слоемъ, который началъ было культивировать типъ сильнаго человѣка. Дальнѣйшая литературная эволюція пошла совершенно иначе. Реализмъ Гоголя, съ его изображеніемъ обыденнаго, оттѣснилъ прежній интересъ къ исключительной, сильной личности, и поэмы Лермонтова стали чужды новому направленію въ литературѣ. Его герои были много разъ осуждаемы—одними за „хищность", другими за безполезность, и осталась не раскрытой та могущественная эволюція человѣческаго духа, которая въ нихъ заключается. Въ культурѣ разночинца, которая постепенно смѣнила на Руси прежнюю дворянскую культуру, начиная съ конца царствованія Александра Перваго, есть не мало буржуазнаго, а буржуазность и Лермонтовъ это двѣ величины, исключающія другъ друга.

Лермонтовъ намъ кажется недостаточно оцѣненнымъ поэтомъ, поэтомъ будущаго, сказали бы мы, если бы были увѣрены, что литературное пониманіе будущаго будетъ выше современнаго.

Весьма характернымъ является въ этомъ отношеніи то обстоятельство, что русскіе критики цѣнятъ Лермонтова ниже, чѣмъ западные, хотя въ общемъ мы далеки отъ существующаго мнѣнія о скромности русскихъ въ оцѣнкѣ своихъ великихъ людей и богатствъ своей литературы. Такъ, напримѣръ, взглядъ Брандеса на Лермонтова, какъ на самаго виднаго изъ послѣдователей Байрона, встрѣтилъ довольно дружно изумленіе русскихъ критиковъ, свидѣтельствующее, намъ кажется, о недостаточномъ пониманіи поэзіи Лермонтова. Мы не удивляемся этому. Много было причинъ тому, что то направленіе, представителемъ котораго былъ Гоголь, оказалось господствующимъ и въ значительной степени, хотя не совсѣмъ, заслонило теченіе, нашедшее себѣ представителя въ Лермонтовѣ. Мы удивляемся только тому, что въ наши дни, когда чувствуется въ обществѣ несомнѣнный интересъ къ поэзіи сильной личности, когда на этомъ интересѣ строится относительно крупный успѣхъ такихъ изумительно бездарныхъ произведеній, какъ недавно появив-

шаяся на сценахъ Петербурга пьеса „Комета“, когда существуетъ увлеченіе полубезумнымъ Ницше, Лермонтовъ все же остается забытымъ поэтомъ. Мы удивляемся, потому что въ Лермонтовѣ есть именно то, что составляетъ лучшую здоровую сторону ницшеанства, что характеризуетъ пользующагося такимъ большимъ успѣхомъ, правда, очень крупнаго, но все же уступающаго Лермонтову писателя, М. Горькаго, есть могучій протестъ противъ пошлости и мелочности жизни, есть очаровательная поэзія высокаго и прекраснаго.

Чтобы покончить съ произведеніями Лермонтова въ стихотворной формѣ, мы должны еще сказать нѣсколько словъ о „Пѣснѣ про купца Калашникова“, и о небольшой, но очень замѣчательной группѣ стихотвореній, которыхъ мы не могли коснуться, говоря о лирикѣ личнаго чувства, о тѣхъ стихотвореніяхъ, гдѣ такъ или иначе сказываются общественныя взгляды поэта. Наиболѣе замѣчательными изъ этихъ стихотвореній мы считаемъ извѣстную „Думу“ („Печально я гляжу“), вторую половину стихотворенія „На смерть Пушкина“ („А вы, презрѣнные потомки“) и „Родину“.

Много разъ указывалось на „недальновидность“ Думы: „Увядающее, изнемогшее будто бы подъ бременемъ познанья и сомнѣнья, говоритъ А. Н. Веселовскій, поколѣніе это,— та блестящая плеяда, которая создала литературу сороковыхъ годовъ, кружокъ Бѣлинскаго и его друзей, *незнакомыхъ* поэту, ихъ университетскому товарищу, герценовская группа, юный Грановскій. Даже съ поправкой, предлагаемой Н. К. Михайловскимъ, указывающимъ на порицаемую поэтомъ безплодность науки, неприложимой къ жизни и мертвящее отсутствіе дѣятельности, этотъ приговоръ остается суровымъ и недальновиднымъ“ [1]).

Прежде всего нельзя не обратить вниманія, что этотъ упрекъ поэта нельзя относить къ Бѣлинскому и Герцену, какъ указываетъ самъ А. Н. Веселовскій, незнакомымъ Лермонтову. Лермонтовъ говорилъ, конечно, о томъ, что зналъ. Остается въ силѣ возраженіе, что не такъ этой науки было много въ то время, и не она, конечно, виновата въ безплодности. Все это вѣрно, но тѣмъ не менѣе и человѣку нашего времени такъ и хочется сказать своему поколѣнію все то,

---

[1]) „*Западныя* вліянія въ русс литературѣ“, 200.

что сказано Лермонтовымъ въ его „Думѣ“, хотя и теперь, по правдѣ сказать, науки-то не слишкомъ много, и не она виновата въ своей безплодности. Логическое удареніе въ спорномъ стихѣ мы поставили бы вслѣдъ за Н. К. Михайловскимъ на „безплодной“, и правда, намъ кажется, нисколько не страдаетъ въ „Думѣ“. Кой-какая наука существовала и при Лермонтовѣ и, если мы иногда не прочь попрекнуть нашу захудалую науку, то почему бы и Лермонтову въ свое время этого не сдѣлать, можетъ быть этимъ объ много дѣлалъ ей чести, но это показываетъ только, что онъ ее уважалъ, какова бы она не была. Во всякомъ случаѣ стихотвореніе это полно свѣжести и для насъ. Кто изъ мыслящихъ и чувствующихъ людей нашего времени не скажетъ вмѣстѣ съ Лермонтовымъ:

„Толпой угрюмою и скоро позабытой,
Надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда,
Не бросивши вѣкамъ ни мысли плодовитой,
Ни геніемъ начатаго труда.
И прахъ нашъ съ строгостью судьи и гражданина,
Потомокъ оскорбитъ презрительнымъ стихомъ,
Насмѣшкой горькою обманутаго сына
Надъ промотавшимся отцемъ.

Энергичные желчные стихи второй половины стихотворенія на смерть Пушкина хорошо извѣстны. Такъ строго относился поэтъ къ современному ему высшему обществу и къ родинѣ, но онъ любилъ эту родину, несмотря на все это, любилъ по его словамъ „странною любовью“. Намъ эта любовь не покажется странною, но тогда она была дѣйствительно, странною: врядъ-ли кто-нибудь раньше Лермонтова любилъ родину такою *простою*, естественною любовью.

„Но я люблю, за что, не знаю самъ
Ея степей холодное молчанье,
Ея лѣсовъ безбрежныхъ колыханье,
Разливы рѣкъ ея, подобные морямъ;
Проселочнымъ путемъ люблю скакать въ телѣгѣ
И взоромъ медленнымъ пронзая ночи тѣнь,
Встрѣчать по сторонамъ, вздыхая о ночлегѣ,
Дрожащіе огни печальныхъ деревень.
Люблю дымокъ спаленной жнивы,
Въ степи кочующій обозъ,
И на холмѣ, средь желтой нивы,
Чету бѣлѣющихъ березъ.

Съ отрадой многимъ незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу покрытую соломой,
Съ рѣзными ставнями окно;
И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ
Смотрѣть до полночи готовъ
На пляску съ топаньемъ и свистомъ
Подъ говоръ пьяныхъ мужиковъ".

Это первое простое и реальное изображеніе Руси, какая есть. Сравнительно съ этимъ простымъ изображеніемъ Пушкинская „Деревня" нѣсколько псевдоклассична. Только у Тургенева и Толстого, русская деревня, коренная глубокая Русь, рисуется съ неменьшей простотой и реальностью. Лермонтовская „Родина" предвосхитила тонъ и краски „Записокъ Охотника".

Если такія стихотворенія, какъ „Родина", при условіяхъ времени и общества, въ которомъ жилъ поэтъ, могутъ быть признаны почти откровеніемъ, „Пѣсня про купца Калашникова" есть уже настоящее откровеніе. Народность, которая у всѣхъ была на устахъ, къ которой всѣ стремились, но которая никому почти не давалась совершенно, вдругъ безъ всякаго труда далась Лермонтову съ такою полнотой, какой не достигала ея русская поэзія ни раньше, ни позже. Стоитъ вспомнить бутафорскую народность въ „былинахъ" Алексѣя Толстого, чтобы оцѣнить все совершенство поэмы Лермонтова, единственнаго изъ русскихъ поэтовъ, овладѣвшаго былиннымъ стихомъ и складомъ, сумѣвшаго придать ему художественную изящность и законченность. Содержаніе достойно формы. Какая глубокая драма развивается передъ нами, и какъ много въ ней правды, какое отсутствіе мелодраматизма. Эта Лермонтовская поэма лучше всего показываетъ, что не матеріалъ, даваемый русскою исторіей, виноватъ въ неудачѣ Пушкинскаго Годунова, какъ драмы. И въ русскомъ прошломъ можно найти драматическія положенія и пригодныхъ для драмы героевъ. Чѣмъ не матеріалъ для самой истинной драмы и этотъ купецъ Калашниковъ, мститель за свою личную честь, но вмѣстѣ съ тѣмъ выразитель протеста противъ произвола опричины, и этотъ удалой опричникъ Кирибѣевичъ и грозный царь съ *его саркастическимъ* великодушіемъ, этого матеріала съ

избыткомъ хватило-бы на истинную драму. Но, сохраняя историческую правду, Лермонтовъ не былъ обезличенъ ею. Въ прошломъ онъ взялъ то, что было близко ему, какъ человѣку и поэту: и въ Калашниковѣ и въ Кирибѣевичѣ мы видимъ ту же сильную могучую личность, развитіе которой составляетъ ядро поэзіи Лермонтова, и личность эта является въ двухъ своихъ видоизмѣненіяхъ насильника и протестанта противъ насилія, протестанта, образъ котораго нарисованъ не только болѣе привлекательнымъ, но и болѣе величественнымъ.

Время не позволяетъ намъ остановиться на драмахъ Лермонтова, какъ ни много интереснаго представляютъ онѣ, и мы перейдемъ къ наиболѣе крупному произведенію Лермонтова—„Герой нашего времени". Если поэмы Лермонтова являются какъ бы продолженіемъ байроническихъ поэмъ Пушкина, то „Герой нашего времени" находится приблизительно въ такомъ же положеніи относительно „Евгенія Онѣгина". Такое сходство между „Онѣгинымъ" и „Героемъ нашего времени" отмѣчено даже именемъ Лермонтовскаго героя, котораго поэтъ назвалъ фамиліей, происходящею отъ имени рѣки, текущей рядомъ съ Онегой, но болѣе глубокой и могучей. Печоринъ это—„Онѣгинъ", но въ другой обстановкѣ, и въ другомъ дальнѣйшемъ моментѣ развитія. Печоринъ, какъ Онѣгинъ,—единственный другъ своего творца, единственная личность, которая ему сродни и подъ пару. Что же это за личность? Не такъ давно въ авторитетномъ трудѣ пр. Ал. Н. Веселовскаго, личность эта много разъ осуждаема была снова и, быть можетъ болѣе сурово, чѣмъ прежде, ей отказывали даже въ силѣ зла. Но въ то же время одинъ изъ талантливѣйшихъ критиковъ запада—Брандесъ признаетъ Печорина совершеннѣйшимъ изъ типовъ, созданныхъ подъ вліяніемъ Байрона за предѣлами Англіи. Бѣлинскій, который лучше всѣхъ понялъ и оцѣнилъ личность Печорина, который понялъ глубину и мощность его натуры, тѣмъ не менѣе смотритъ на настоящаго Печорина, какъ на временное состояніе, за которымъ должно слѣдовать болѣе полное развитіе его личности, выражающееся въ гармоніи. „Настанетъ торжественная минута, и противорѣчіе разрѣшится, борьба кончится, и разрозненные звуки сольются въ одинъ гармоническій аккордъ". Мы сомнѣваемся

въ возможности этого гармоническаго аккорда. Противорѣчія въ личности Печорина слишкомъ глубоки, слишкомъ характерны, и причины ихъ слишкомъ многосложны, чтобы дѣло могло кончиться гармоническимъ аккордомъ. Такъ могло бы кончиться, если бы и окружающая Печорина дѣйствительность тоже пришла къ гармоническому аккорду; но такъ какъ этого аккорда придется еще долго ждать и всему человѣчеству и намъ русскимъ въ частности, то и гармонія души Печорина была бы возможна не въ 19-мъ столѣтіи. Противорѣчія его души—результатъ противорѣчія запросовъ его натуры съ мелочностью жизни. Это тоже драма Мцыри и Измаила, но въ реальной обстановкѣ современной автору Руси. Безпросвѣтная пустота жизни—вотъ то зло, которое губитъ Печорина. Эта пустота заставляетъ его наполнять жизнь чѣмъ попало. Это своего рода нравственный голодъ, который невыносимъ такому могучему организму, и который заставляетъ быть неразборчивымъ въ пищѣ. Живя тѣмъ, что можетъ дать ему пошлая жизнь, Печоринъ иногда опускается до пошлости, оттуда его самообличеніе, на которое, какъ на наиболѣе положительную черту его указываетъ А. Н. Веселовскій; но ассимилироваться, принизиться до уровня среды онъ не можетъ, въ этомъ безысходность его положенія. Несомнѣнною пошлостью является борьба Печорина съ Грушницкимъ, его отношенія къ княжнѣ Мери, но самъ Печоринъ отъ этого не дѣлается Грушницкимъ. Натура Печорина сильная, пытливая, жадная къ смыслу жизни, непреклонно гордая, она, дѣйствительно достойна „царя познанья и свободы", Демона, печать котораго лежитъ на ней, дѣйствительно сродни она и великому англійскому поэту свободы. Въ сравненіи съ насмѣшливымъ и скучающимъ Онѣгинымъ, желчный, тоскующій Печоринъ дѣйствительно производитъ впечатлѣніе, похожее на то, какое дѣлаетъ на картѣ громадная Печора рядомъ съ значительно болѣе скромною Онегой. Печоринъ сродни Онѣгину, но въ немъ больше титанизма, жажды свободы и познанья. Титаничность личности Печорина напоминаетъ титаничность Мцыри, и эти два образа представляютъ собою высшее развитіе личности въ нашей литературѣ.

*Время не позволяетъ* намъ говорить о достоинствахъ и объ *историческомъ* значеніи „Героя нашего времени", какъ пси-

хологическаго романа; мы должны пройти мимо многаго и другого въ поэзіи Лермонтова, ограничивъ свою задачу выясненіемъ основного мотива ея: борьбы титанической личности съ пошлостью жизни. Теперь мы подведемъ итоги.

Русское дворянство, приставленное къ учебѣ Петромъ, успѣло къ началу 19-го вѣка настолько проникнуться идеями западной цивилизаціи, что рамки условій русской дѣйствительности стали ему тѣсны. Вольтеръ, романтики, Байронъ и событія отечественной войны создали такой подъемъ духа, какого не бывало ранѣе, да можетъ быть и позже на Руси. Сдѣлана была попытка переустройства, но она не удалась и привела къ разгрому дворянской интеллигенціи. Этотъ періодъ, характеризуемый активностью и подъемомъ духа, выдвинулъ изъ рядовъ дворянской интеллигенціи Пушкина и нѣсколько запоздалаго Лермонтова. Тотъ и другой, тѣсно связанные съ своимъ классомъ, стали жертвою разгрома, который, хотя не коснулся ихъ прямо, но сдѣлалъ одинокими среди чуждаго имъ общества. Съ гибелью этихъ двухъ поэтовъ, остановилось и развитіе на Руси той поэзіи, типичными представителями которой были Пушкинъ первой половины своей дѣятельности и Лермонтовъ. Съ Лермонтовымъ замолкла поэзія сильной титанической личности. Новое поколѣніе по многимъ причинамъ не могло быть активнымъ, оно больше изучало и размышляло, чѣмъ дѣйствовало, оно искало гармоніи, а не борьбы; развитіе личности было ослаблено рефлексіей и регрессировало. Гоголь на время даетъ рѣшительный перевѣсъ изображенію общества, фона, передъ изображеніемъ личности. Впослѣдствіи въ произведеніяхъ Тургенева личность оказывается гораздо болѣе слабою, подавленною, „заѣденной рефлексіей". Дальше развитіе личности шло съ нѣкоторыми колебаніями, но въ литературѣ не нашло выраженія сколько-нибудь приближающагося къ Лермонтовскому, и къ концу 19-го вѣка оказалось въ положеніи много худшемъ, чѣмъ въ концѣ первой четверти его. Прогрессировало идейное содержаніе формы жизни, но не личность. Только въ самомъ концѣ 19-го вѣка пробуждается интересъ къ развитію личности, и является писатель, выражающій это развитіе.

Stanford University Libraries
3 6105 127 164 874

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.